

Как слово наше отзовется? (Часть 2)

Васильев К. Б., издательство «Авалонь», СПб,

avalon-edit@yandex.ru

Аннотация: Автор развивает тему, начатую в первой части своего очерка, рассуждая о том, что определённая часть наших высказываний, прозвучавших устно, записанных, напечатанных типографским способом, доходит до слушателей и читателей в неточной форме или в неверном, искажённом, переделанном виде. При этом имеют место намеренные искажения, продиктованные личной неприязнью или политическими целями. При публикации возможны сокращения или дописывания сотрудниками издательства, выпуск или переделка слов, фраз и целых кусков по требованию цензуры. К числу искажённых высказываний принадлежат даже некоторые крылатые речения и афоризмы, правильное написание и смысл которых мало кто подвергает сомнению. Уточняются некоторые причины, почему происходят текстовые изменения. Автор приводит конкретные примеры переделок и искажений в известных цитатах из русской классики, дополняя их примерами из своего опыта работы в качестве переводчика и редактора. Во второй части очерка исследуется роль текстологии, призванной изучать памятники письменности, объяснять тёмные места и даже восстанавливать посредством дивинаций и конъектур утраченные части текста. По утверждению автора, усилия текстологов не обязательно проясняют смысл, бывают случаи, когда делаются неверные интерпретации; дивинации и конъектуры субъективны, они зависят от личных установок текстолога, кроме этого, текстолог, как и автор, зависит от господствующей идеологии, находится под влиянием сложившегося общественного мнения.

Ключевые слова: текстология, литературоведческая интерпретация, танцующие стулья, ода «Вольность», богохульство, Второзаконие, идолослужение, дивинация, конъектура, Павел Щёголев, Валерий Брюсов.

1

Известные строки Тютчева по различным поводам вспоминаются и к разным случаям прикладываются: «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется...» Мы замечаем, что речение не всегда к месту, и не все одинаково понимают его, не одинаково *интерпретируют*. На мой взгляд, любопытнее то, что мало кто соотносит его со своей речевой и письменной деятельностью, далеко не каждый учитывает, как его высказывания и писания будут истолкованы современниками и потомками, хотя надо бы добиваться простоты и точности, дабы избежать непонимания, смыслового искажения, неверного объяснения. В устной речи человек, бывает, вымолвит или выкрикнет второпях что-то необдуманное, бессвязное, отчасти или совсем бессмысленное; будучи в злом или раздражённом состоянии, мы позволяем себе запальчивые выпады, направленные на унижение и оскорбление собеседника, имеющего иные взгляды и установки, с нами не согласного, нашему переубеждению не поддающегося; понятно, что мы исходим из личных убеждений (или заблуждений) или своей религии (считая её единственно верной):

я ему говорю, в чём истина, он же держится упрямо за своё ложное учение, за свою ересь! Излагая что-либо в письменном виде, человек, особенно литератор, прозаик, обычно имеет время на подбор слов, у него есть возможность поставить себя на место читателя: всё ли будет ему понятно. Я вспоминаю чеховский метод, он строг: «Садиться писать нужно только тогда, когда чувствуешь себя холодным, как лёд» — в полной мере неосуществимо избавиться от чувств, настроений, предпочтений и предубеждений, и всё же журналисту, литератору, историку следует прилагать усилия к тому, чтобы, пусть через усилие, привести себя в спокойное состояние, взвешивать слова, бросать взгляд *со стороны* на свои высказывания, перечитывать написанное; если найдутся люди, не согласные с автором, они, по крайней мере, поймут смысл авторского рассказа, авторских суждений и выводов.

Даже при внимательном отношении пишущего к тому, что выходит из-под его пера, даже если он даёт своей рукописи отлежаться и перечитывает написанное на свежую голову перед тем, как предложить её какому-то кругу читателей, не приходится рассчитывать на полное и верное понимание. Могут последовать отклики и *интерпретации* самые неожиданные. Как мы знаем, одни и те же рассуждения известных сочинителей и мыслителей, с виду вполне однозначные, подверстывались по необходимости к пылким здравицам или к печальным отпеваниям, вплоть до того, что утверждения переиначивались в опровержения, и похвала выдавалась за хулу. В советское время, в том числе в мои школьные годы, поэта Пушкина выставляли непримиримым врагом и обличителем самодержавия, с успехом приводя *наглядные* примеры из его стихов и прозы; сейчас мы слышим всё больше умиленных разглагольствований о том, каким последовательным монархистом был наш великий поэт, — тоже с приведением доказательных цитат.

По ходу дела заметим, что творческий человек, предвидя посмертную славу, веря, что *весь я не умру, душа мой прах переживёт*, может ошибаться в значении своей деятельности и неверно объяснять причины, обеспечивающие долголетие его творениям; по крайней мере, лично я считаю ошибочными рассуждения Пушкина, перечитывая его раздумья в известном «Памятнике»:

И долго буду тем любезен я народу,
 Что чувства добрые я лирой пробуждал,
 Что в мой жестокий век восславил я свободу,
 И милость к падшим призывал.

Народ складывается из разных классов и прослоек, имеющих свои вкусы и предпочтения, и у каждой личности своё понимание искусства. Будет преувеличением заявлять, что Пушкин *любезен* всему народу без исключения, но начнём с того, что не всё население поголовно читает его, хотя в соответствующей обстановке даже тот, кто не знает ни единой пушкинской строки, не желая расписаться в полном невежестве, скорее всего, выдавит из себя или даже бодро протараторит: я люблю Пушкина, великого русского поэта! Искренние и понимающие любители поэзии не стали бы хранить и перечитывать стихи Пушкина, хранить память о нём по прошествии одного, двух столетий только за то, что он многократно повторял в своих писаниях отвлечённое существительное *свобода*. Пробуждением *добрых чувств* и прославлением свободы на протяжении веков занимались тысячи и тысячи мыслителей и просветителей, священнослужителей и *пламенных революционеров*, агитаторов и пропагандистов (пропагаторов, как называли их во времена Петрашевского и Достоевского), свободу воспевали литераторы как талантливые, так и посредственные, но одними свободолобивыми призывами и восклицаниями не обеспечишь себе место в истории и долгую искреннюю память в будущих поколениях.

Вспоминая частные случаи, мы должны признать: слушателям и читателям

определённого склада бывают очень *любезны* изречения и призывы, по форме пусть даже корявые и примитивные, именно за то, что в них звонко выкрикивается о равенстве, братстве и свободе; ряды таких любителей уменьшаются или увеличиваются в зависимости от экономического и политического состояния в стране, от силы гнёта не столько на плечи, сколько на умы (гнёт может быть в своей стране, как в Советском Союзе в коммунистическое правление, но, как это бывает при подавленности и затемнении сознания, отсутствие свободы в своей стране выливается в стремление принести её всему человечеству; мы рьяно бросали камни в чужой огород, в трудовых коллективах на собраниях мы требовали свободы для пролетариев и чернокожих в капиталистических странах, для *закабалённых* и *угнетённых народов* в Азии, Африке и Латинской Америке). Поэт А. Н. Плещеев (1825–1893) в своё время прославился в определённых кругах, или, скажем лучше, в определённых кружках с текучим разномастным составом, возникших в России во второй половине 1840-х годов; члены этих собраний известны нам собирательно как петрашевцы. Число означенных *вольнодумцев*, кучковавшихся вокруг М. В. Буташевича-Петрашевского (1821–1866), не дотягивало до двухсот; люди в основном праздные, к труду не расположенные, семейными заботами не обременённые, они по какой-то причине, отчасти по вечному преклонению русских людей перед всем иностранным, прониклись верой и любовью к мечтаниям Шарля Фурье и на своих сходках горячо обсуждали, как бы устроить русскому люду счастливую жизнь по его французскому методу. В этой среде с жаром подхватили *революционное* восклицание Плещеева: «Вперёд! без страха и сомненья...» При этом кружковцы восхитились только одной фразой из стихотворения, состоящего из несколько строф. Они то ли не прочитали всё произведение до конца, то ли бегло пробежали его глазами, но никто из них как будто не вдумался, не захотел вдумываться в целое под впечатлением поразившей их частности.

Если даже не придирааться особо, если подвергнуть поверхностному разбору то, что написал Плещеев, мы должны отнести сочинителя к тому разряду людей, которые, как говорится, *без царя в голове*. В виршах, явившихся в 1846 году явно в приступе вдохновения, зачин вроде как революционный, правда, *святое искупленье*, предвещаемое зарёй на небесах, похоже, подразумевает спасение свыше, с неба, откуда свобода будет ниспослана в осязаемом и съедобном виде — как манна небесная посыплется она на головы народа (жившего, по утверждению А. С. Пушкина, *под гнётом власти роковой*).

Вперёд! без страха и сомненья
На подвиг доблестный, друзья!
Зарю святого искупленья
Уж в небесах завидел я!

Само движение вперёд не есть положительное явление, и его нельзя рассматривать как путь к чему-то вечно хорошему. День сменяется ночью, будет летняя пора с жарой, будет и зимняя с холодами; «всему своё время, и время всякой вещи под небом», и после относительно благополучных лет или десятилетий с приятным потреблением продуктов и услуг, с благоустройством прилегающих территорий и украшением оных зелёными насаждениями обязательно наступает время убивать, разрушать, плакать и *вырывать посаженное*, приходит лихолетье, когда общество обуреваемо враждой и мщением, когда народ ищет и быстро находит врагов, *мешающих нам жить*, и кидается их бить. Как ни странно, набожный Екклесиаст со своими рассуждениями о текучести и непостоянстве жизни в большей степени диалектик, нежели русские марксисты-ленинцы, атеисты, напиравшие на приверженность диалектическому материализму: русские *материалисты* поставили себе *конечную* цель и совершенно серьёзно говорили о коммунизме как *вечной* общественно-экономической формации. Суть марксизма-ленинизма, вместо того, чтобы

вычленять её из многословных и нудных трудов, написанных классиками этого *единственно верного* учения, можно уяснить, в общем-то, прослушав пару незамысловатых советских песен, вроде следующей, в коей утверждается вековечность коммунистического строя: «Будет людям счастье, счастье *на века...*»

К наступательным броскам вперёд призывают не только те, кто жаждет отхода от единовластия и произвола (который, признаем, не бывает повсеместным, безоглядным и беспредельным, даже если поэты и называют его *властью роковой*). Таким же лозунгом *вперёд без страха и сомненья* подогревают себя националисты, фашисты, расисты, террористы. Вспомним испанских конкистадоров, колонизаторов английских, французских и голландских: они, отбрасывая рассуждения и сомнения, шли дальше и дальше, вперёд и вперёд для захвата и освоения чужих земель, для покорения местных народов и своего обогащения. Приверженцы какого-либо прежнего диктаторского режима вспоминают *твёрдые* методы правления со скорой расправой над неугодными и инакомыслящими; желая восстановить старые порядки, они понимают невозможность повернуть время вспять, так что и они тоже стремятся вперёд, надеясь на, скажем так, восстановление прошлого в ближайшем будущем.

Можно ещё раз заподозрить размягчение мозга у стихослагателя Плещеева: подбадривая соратников на *подвиг доблестный*, он словно рисует лубочную пасторальку, где чистенькие парубки с ангельским взором, взявшись за руки, направляют стопы в ту сторону, где горит ясно солнышко, непременно под хоругвью с теми или иными *сакральными* символами — в данном случае она именуется *знаменем науки*.

Смелей! Дадим друг другу руки
И вместе двинемся вперёд.
И пусть под знаменем науки
Союз наш крепнет и растёт.

В следующем четверостишии наш фурьерист-петрашевец вроде как определяет цель: разбудить спящих, сколотить из них рать и повести её в бой (спящие, проморгавшись, видимо, сразу, *без страха и сомненья*, кинутся в битву, не уяснив, за что и против кого она ведётся). Хотя и ожидается сражение, идущие на *доблестный подвиг* будут карать врагов не мечом, а, вы только послушайте и вдумайтесь: *глаголом истины*.

Жрецов греха и лжи мы будем
Глаголом истины карать,
И спящих мы от сна разбудим
И поведём на битву рать!

Не имело бы смысла вопрошать вдохновенного пиита, как он понимает истину, что такое *святое искупленье*, и кого считать *жрецами греха и лжи*. Здравомыслящий редактор в нормальном периодическом издании просто не пустил бы в печать сии рифмованные восклицания. Плещеевские вирши не стал бы переписывать себе в тетрадку, хранить и тем более заучивать наизусть ни один нормальный человек, хоть сколько разбирающийся в поэзии. Однако вирши *отозвались в сердцах* какого-то количества современников Плещеева, желавших как будто и не свержения монархии, а вот как бы нам пострадать за *святую истину*, как бы нам *снести гоненье*, взойти на эшафот или отправиться в Сибирь, а *святое искупленье* само собой грянет. Призыв *вперёд без страха и сомненья* стал *любезен* народолюбцам, пришедшим на смену петрашевцам; нелепое и скверное сочинение Плещеева прослыло революционным гимном и *русской марсельезой*, подбадривавшей тех, кто принял решение карать уже не *глаголом истины*, а оружием, кто обращался не к праздным разночинным мечтателям, а к той части населения, которая была способна на

вооружённое восстание, которую не пугало кровопролитие:

На бой кровавый,
Святой и правый,
Марш, марш вперёд,
Рабочий народ!

2

Множество *свободолюбивых* стихов из XIX века перепечатывалось и переиздавалось после революции, в советское время; достойные забвения, они навязывались нам в доказательство тому, что существовало в царской России *мощное революционное движение*. Надо признать, что мы читали их и без навязывания, пусть не особо восхищаясь, но всё же считая их поэзией; по крайней мере, насколько я помню, все эти *марсельезы* и *варшавянки* не вызывали недоумения или отвращения у советских людей. Имея подборку стихотворений А. Плещеева, изданную в 1975 году в серии «Поэтическая Россия», я нахожу в предисловии хвалу, воздаваемую поэту не за качество его стихов, а за гражданскую позицию. Признаётся, что его стихи были выдержаны в «условно-романтической, полной патетики, манере стихотворной речи, которая стала в те годы уже привычной и даже трафаретной». Если это трафареты, зачем переводить бумагу и воспроизводить их через сто с лишним лет? Но советский издатель уверял нас, что ценность поэзии в другом, она пленяет *свободолюбивым пафосом*. При этом издатель уверенно, с видом очевидца расписывал умонастроения столетней давности: будто бы вся читающая публика с *горячими симпатиями* встретила плещеевские вирши в 1846 году: «В восприятии тогдашнего читателя главным было другое. Пленял тот *свободолюбивый, демократический пафос*, каким было насыщено творчество молодого поэта. В таких плещеевских словосочетаниях, как *заря искупленья, истина святая, любви ученья, жрецы греха и лжи*, <...> читатель сороковых годов прошлого века видел протест против крепостнической русской действительности, призыв поэта к борьбе и обновлению. Читатель вникал в страстную проповедь общественного служения <...>. Тираноборческий, революционный смысл сборника Плещеева был прекрасно уловлен и публикой, и журнальными публицистами...»

Вот вам пример, как одни и те же *словосочетания* очень по-разному воспринимаются разными людьми; я считаю их скверными с точки зрения искусства и морали, пустыми по смыслу, совсем бессмысленными, но кто-то усматривал в них как в 1846-м, так и в 1975 году призыв к обновлению, к общественному служению... Так он чуть ли не Прометеем был, наш Плещеев, со своими *тираноборческими* виршами!

В 1975 году, да и в течение всего социалистически-коммунистического периода, в пушкинском «Памятнике» выделялись особо, подчёркивались слова о том, что автор жил в жестокие времена: «в мой *жестокий век* восславил я свободу», и мы в большинстве своём принимали на веру свидетельство нашего великого *свободолюбивого* поэта: жестокость была отличительной чертой монархии, Пушкин ведь знал, о чём говорит, он не мог лгать, он сам пал жертвой жестоких порядков! И мы с подачи Пушкина принимали сторону *падших* — декабристов, *первенцев свободы*, считая их *собираательно* благородными людьми, имевшими однозначно благие намерения.

3

Мой крайне нелестный отзыв о стихотворении Плещеева покоробит кого-то: всё-таки следует с уважением относиться к литературному наследию, всё-таки не зря *лучшие*

люди шли на казнь и на каторгу за свои убеждения, сражались на баррикадах... Художественное произведение говорит само за себя, не имеет значения, в каком месте и в каких условиях оно написано, его достоинства не увеличиваются от того, что автор пострадал от властей, сидел в тюрьме или кончил жизнь на плахе. Если кто-то всю жизнь восклицал о свободе, подбивал окружающих на кровопролитие или сам участвовал в нём, я не вижу оснований причислять его только за это к лучшим людям. Честно говоря, я не понимал, я так и не понял, в чём состояли убеждения Петрашевского, одного из *лучших людей*, собиравшегося ли он на деле ниспровергать монархию, какой государственный уклад представлялся ему лучше монархии, неужели созданный на основе *социалистических учений Запада*, и чего, собственно, хотели те, кто посещал его собрания. Была ли программа или хотя бы объединяющая идея? Если верить тому, что написано в предисловии к имеющемуся у меня сборнику плещевских стихов, цели и планы имелись, при этом определённые, революционные и республиканские:

«Этот кружок передовой интеллигенции был замечательнейшим историческим явлением русской жизни сороковых годов. Выходцы из небогатых дворян и самые настоящие разночинцы — чиновники, педагоги, студенты, литераторы <...>, изучая социалистические учения Запада, ставили задачу уничтожить крепостное право в России, установить в ней республиканский строй, коренным образом изменить все общественные институты. В отличие от декабристов, петрашевцы ориентировались на народные массы, хотели организовать свою типографию, журнал, вынашивали планы по сплочению революционных сил в стране, по подготовке восстания».

Сомневаюсь, что *народные массы* знали хоть что-то о существовании в столичном Петербурге разночинного кружка, затевавшего осчастливить их через свержение монархии; но вот написано и напечатано, что даже восстание готовилось! Если же верить показаниям, которые давал арестованный Ф. М. Достоевский членам следственной комиссии, в стане *вольнодумцев* не было *никакого направления, никакой общей цели*. Как мне представляется сейчас, на своих собраниях чиновники, педагоги, студенты и литераторы занимались в основном тем же, что и члены *тайного общества*, к которому принадлежал грибоедовский Репетиллов: «Шумим, братец, шумим». Достоевский доводил до сведения властей, лучше сказать, сообщал властям... Вообще, создаётся впечатление, что подследственный *изливал душу*, чуть ли не исповедовался перед властями: «Я не люблю говорить громко и много даже с приятелями, которых у меня очень немного, а тем более в обществе, где я слышу за человека неразговорчивого, молчаливого, несветского. Знакомств у меня очень мало. Половина моего времени занята работой, которая кормит меня; другая половина занята постоянно болезнью, ипохондрическими припадками, которыми я страдаю уже скоро три года. Едва остаётся немного времени на чтение и на то, чтоб узнать, что на свете делается. Для приятелей и знакомых остаётся очень немного времени. А потому, если я и написал теперь против системы всеобщего, как будто систематического умолчания и скрытности, то это потому, что мне хотелось высказать своё убеждение, а вовсе не защищать себя. Но в чём же обвиняют меня? В том, что я говорил о политике, о Западе, о цензуре? и проч. Но кто же не говорил и не думал в наше время об этих вопросах? Зачем же я учился, зачем наукой во мне возбуждена любознательность, если я не имею права сказать моего личного мнения или не согласиться с таким мнением, которое само по себе авторитетно?»

Как мы знаем, исповедь ничуть не тронула и не разжалобила чиновников, ведущих следствие, она, скорее всего, утомила их, и отставного инженер-поручика Достоевского причислили к опасным политическим преступникам и, не сделав снисхождения ему как талантливому литератору, приговорили к смертной казни... Нас сейчас, как и означенных чиновников, интересует не душевное состояние впечатлительного и раздражительного человека, оказавшегося в тюремной камере, мы ждём показаний, как Достоевский определял деятельность петрашевцев, и находим следующее: «Я не встретил никакого

единства в обществе Петрашевского, никакого направления, никакой общей цели. Положительно можно сказать, нельзя найти трёх человек, согласных в каком-нибудь пункте, на любую заданную тему. Оттого вечные споры друг с другом; вечные противуречия и несогласия в мнениях...»

Революционность петрашевцев, их значимость и влияние на ход русской истории, внимание современников к их аресту и судебному разбирательству были сильно преувеличены в советское время, связь с *народными массами* просто выдумана. Что касается поэзии, а именно стихотворения, провозглашённого *русской марсельезой*, я обнаружил, что нелестное суждение о нём задолго до меня высказал Александр Блок, он назвал плещеевские вирши не просто скверными, а прескверными. Повторю то, что я писал в очерке «Французские революционные песни с русскими словами»: в 1919 году А. М. Горький задумал напечатать избранные произведения русских классиков, и А. А. Блок, привлечённый к осуществлению этого плана, сомневался, кого считать классиком в русской поэзии, и нужно ли включать в избранное то, что, будучи скверным, *вросло в русское сердце*: «Есть, наконец, прескверные стихи, корнями вросшие в русское сердце; не вырвешь иначе, как с кровью, плещеевского *Вперёд без страха и сомненья*, лавровского *Отречёмся от старого мира*...»

Плещеев, видимо, восхищённый своим умением срифмовать *ученье* и *гоненье*, *богачей* и *палачей*, не чувствовал, что сваливает в кучу Фому с Ерёмой, огородную бузину и киевского дядьку, приправив их Иисусом Христом:

Провозглашать любви ученье
Мы будем нищим, богачам
И за него снесём гоненье,
Простив безумным палачам!

Уже первые слушатели, посещавшие кружок Петрашевского, должны были не умилиться и не вдохновиться, но сурово отчитать автора: цель революционера не в том, чтобы проповедовать *любви ученье*, тем более богачам, у которых нужно отобрать деньги и имущество, нажитые народным трудом, революционеры карают не *глаголом истины*, они действуют кинжалом, пистолетом и динамитом, и уж точно у борцов за народное дело не предусмотрено прощенье для *безумных палачей*. Уже первые, ознакомившиеся со стишком Плещеева, должны были узреть в нём отсутствие смысла или, по крайней мере, отметить, что автор не понимает целей и методов революционной борьбы; но вот ведь какая неожиданная слава: революционный гимн, русская марсельеза, *вросло в русское сердце*... И если какая скверна, действительно, в сердце вросла, никакие разумные объяснения и доводы не подействуют, как не действуют увещевания родных, близких, друзей и общественности на девицу, влюбившуюся в отъявленного негодяя; она отмалчивается с гордым видом или кричит с горящим взором: я с ним на каторгу пойду, и если его в тюрьму посадят, я всю жизнь буду его ждать!

4

Отклик в поколениях непредсказуем, и нам не дано предугадать, какие издательские, редакторские или цензурные изменения, сокращения или дописывания появятся со временем в том или ином тексте. В одном из писем к В. А. Жуковскому из Михайловского (в 1825 году) Пушкин похвально отзывается о некоторых стихах старшего товарища и добавляет шутиливо: «Всё это прелесть; а где она? Знаешь, что выйдет? После твоей смерти всё это напечатают с ошибками и с приобщением стихов Кюхельбекера...» Рассуждение не беспочвенное: имеются произведения, создатели которых забыты,

авторство которых по прошествии лет не удаётся установить, современные литературоведы высказывают новые догадки, иногда принимая за факты ранее высказанные предположения; до нас дошли стихи, приписываемые, например, Баркову и тому же Пушкину... Вспоминается Аксентий Иванович Поприщин из «Записок сумасшедшего»: он любитель чтения, впрочем, читающий только одну газетку, «Пчёлку», как он называет «Северную пчелу»; он страстный театрал: «Я люблю бывать в театре. Как только грош заведётся в кармане — никак не утерпишь не пойти» — впрочем, предпочитавший что-нибудь простенькое и смешное, про *русского дурака Филатку*, например; он ещё и искренний почитатель поэзии: «Переписал очень хорошие стишки: Душеньки часок не видя, Думал, год уж не видал; Жизнь мою возненавидя, Лъзя ли жить мне, я сказал. — Должно быть, Пушкина сочинение».

А если произведение очень длинное, часть потомков будет читать его в пересказе, как в большинстве случаев мы в России читаем «Дон-Кихота», *бессмертное творение* Сервантеса, и как некоторые читатели за рубежом знакомятся с *великим романом* Л. Н. Толстого «Война и мир» по сокращённым изданиям, по выжимкам из далеко не совершенных переводов.

В том же письме Пушкин советовался с Жуковским по поводу своего прошения на высочайшее имя, составленного по-французски: «Пишу по-французски, потому что язык этот деловой и мне более по перу». Французский язык был *по перу* не только нашему великому поэту; не только в *почтовую прозу*, но и в свои художественные произведения русские авторы, например, Л. Н. Толстой и Ф. М. Достоевский, вставили множество французских слов, фраз и диалогов, считая это естественным и необходимым — дабы *реалистически* изобразить русский высший свет в первую четверть и русское общество в середине XIX века. В наши дни читатель спотыкается на иностранных *вставках* и сразу обращается к переводу в сноске (если таковой имеется). Мы не рискуем править что-либо в книгах, считающихся классикой, но по прошествии ещё сотни лет и французские фразы, и малороссийские словечки, которыми украшал свои повести Н. В. Гоголь, заменят на соответствия из русского литературного языка, при этом, не исключено, это будет не совсем точное или совсем неточное замещение.

До того как задаваться вопросом о долголетии своих писаний, литератору было бы полезно задумываться о понимании со стороны современных читателей, если не всех, то большинства. Русскому сочинителю XIX века, владевшему французским языком, знавшему о том, что значительная часть дворян предпочитает использовать его даже в домашнем общении, следовало всё же писать свои книги по-русски от первой строки до заключительной, ибо стремление к полной достоверности в литературе, в произведении искусства, при изображении отдельных сторон жизни или выписке характеров сравнимо с вставкой фотографий в живописное полотно. И во времена Толстого с Достоевским, и в наши дни литератору следует избегать иностранных, областных и жаргонных слов, избегать также всего, что носит явно временный характер, например, не использовать названия зарубежных предметов одежды, которые входят в моду: мода изменчива, и на смену одним предметам приходят другие, и к прежнему словесному, извините, мусору, добавляется новый сор...

Автор очерка рискует предстать в смешном виде со своими придирками к классическим произведениям, ему скажут: невозможно представить «Войну и мир» без диалогов во вступительной части, написанных на французском языке, таких же диалогов в середине произведения, да и чуть ли не в каждой главе каждого тома, и по всему произведению; мы, правда, их не понимаем, потому что учили английский в школе и институте, и другие читатели их тоже не понимают... Но это же классика; и повести Гоголя утратили бы ту привлекательность, какую они имеют благодаря малороссийскому говору! Автор очерка начал бы ещё советовать, как мастерам прозы и поэзии держать ручку в руке или как нажимать на клавиши пишущей машинки или клавиши компьютера.

Нет, тему пишущих инструментов мы не будем затрагивать — нет нужды, ибо выбор инструмента, его качество, владение инструментом важны в хирургии и, в целом, в медицине; в какой-то степени форма и отточенность кухонных ножей сказывается на приготовлении блюд в кулинарии, но в писательстве не имеет значения, каким пером, гусиным или стальным, водил автор по бумаге, как и то, какие чернила и какого качества бумага были в его распоряжении; было бы интересно читать сочинение, пусть его хоть огрызком карандаша наскребли. До нас дошли тысячи памятников письменности из тех времён, когда люди ещё не додумались даже до использования гусиных перьев. А как, чем они наносили буквы своего алфавита на пергамент? По большому счёту, выяснять и разбираться в письменных принадлежностях и в *технике* письма, да и в алфавите — пустая трата времени, точно так, как, разглядывая старинные живописные полотна в картинной галерее, нет нужды задаваться вопросом: какие кисти держал в руке художник, из меха каких зверьков они изготавливались, из каких природных веществ смешивались краски. Когда появлялось стоящее произведение, в последующих поколениях книжники брали на себя нелёгкий труд переписывать его (с переделками на своё усмотрение), продлевая ему жизнь, при этом определяющую роль играло содержание документа; содержание, тема, смысл, мысли, идеи — они достойны сохранения, особенно когда высказаны поэтическим языком, и сегодня находится достаточное количество желающих читать — не по принуждению, а добровольно — гомеровскую «Илиаду» и, скажем, трагедии Еврипида. Поскольку вспомнилась «Илиада», приведу её в качестве довода в своих рассуждениях... В строку просится, мою речь перебивая, всеведущий и вездесущий Пушкин со своей репликой, впрочем, нашей теме весьма соответствующей: «Гомер, если и существовал, искажён рапсодами». Так вот, автор, которого мы называем Гомером, изображая греков, приплывших под стены Трои, называет их иногда ахейцами (кои известны также как ахейяне), иногда данайцами (они же данаи): приплыли они из разных областей Эллады, и автор, представим, заставил бы их говорить языке своего племени, на своих областных диалектах — для достоверности, чтобы чувствовалась правда жизни! Троянцев для отличия от эллинов стихотворец наделил бы местным троянским говором, тоже стремясь к *реализму*, при этом он в авторском повествовании переходил бы время от времени со своего древнегреческого на какой-нибудь древнеавилонский или древнеегипетский, знание которого, предположим, считалось в тот период показателем образованности, воспитания и, главное, принадлежности к благородному сословию. Абсурд! Но тогда следует назвать абсурдом и творчество наших писателей *деревенщиков*. Я не обзываюсь, я использую определение, кем-то созданное и литературоведами используемое при объяснении, что такое деревенская проза: «Деревенская проза — направление в русской литературе 1950–1980-х годов, связанное с обращением к традиционным ценностям в изображении современной деревенской жизни. <...> Отдельные произведения, критически осмысляющие колхозный опыт, начали появляться уже с начала 1950-х, <...> только к середине 1960-х *деревенская проза* достигла такого уровня художественности, чтобы оформиться в особое направление...»

К *традиционным ценностям* относятся местные говоры: в одной губернии, области, в одном городе или даже небольшом селении может быть своеобразное произношение и набор словечек, которых не услышишь в другой губернии, области, в других городах и весях; они не встречаются в иных местах и, следовательно, там не понятны. Деревенщик, мастер пера, повествующий при царизме о какой-нибудь Нееловке, при социализме — о каком-либо колхозе имени Ильича, живописует с упором на *реализм* тяжкую *жизнь* нееловских крепостных, нуждой задавленных, или радостные трудовые будни колхозников, согреваемых заветами Ильича, он передаёт старательно и местный говор, чем-то привлекательный, но тем самым рассказ или повесть писателя-деревенщика тяготеет к этнографическим заметкам, нежели к художественной прозе. В произведении

искусства — придуманные сюжеты, придуманные события и придуманные герои, повесть или роман становится искусством за счёт искусственных составляющих, и эта гармония нарушается, если тот или иной персонаж по воле автора *говорит так, как в жизни*.

5

Вернёмся к предметам мужского и женского гардероба, о которых мы начали говорить и не договорили: когда автор находит прелесть в заимствованных словах, передающих вошедшие в моду иностранные изделия, происходит следующее: модное перестаёт быть модным, забывается, и через поколение, и уж точно через несколько поколений читатели скользят глазами без понимания по таким словам, как *пюсовый, масака, канифасовый*... Их десятки и сотни в русской литературе, засорив которую, они засорили и словари, где, с пометой *устаревшее*, им даны иногда правильные, чаще приблизительные, часто ошибочные объяснения. В их числе карточные термины, известные любителям русской классики, прежде всего, по пушкинской «Пиковой даме»: *семпель, паролы, мирандоль, соника*... Кто хочет понять, обращается к сноскам и примечаниям, но примечания и сноски пишут люди, которые, как и мы с вами, не могут знать всего, которые, как и составители словарей, в чём-то ошибаются и заблуждаются.

Приведу несколько примеров, на мой взгляд, убедительных и показательных. В рассказе «После бала» Л. Н. Толстой обращает наше внимание на цвет платья, в котором была жена предводителя, встречавшая гостей: «Принимала жена его в бархатном пюсовом платье». А. Н. Чудинов в своём «Словаре иностранных слов, вошедших в состав русского языка» (1910 год) дал следующее объяснение: «Пюсовый — (*фр.*, от *rise* блоха) Старинный модный коричневый цвет». Я не вполне понимаю: коричневый цвет был моден в старину или коричневый во времена Чудинова отличался от того коричневого, который существовал и был моден в старину? Ссылка на блоху пробуждает любопытство. В других справочниках нам сообщают, что *пюсовый* значит красновато-коричневый; что это бурый, коричневый оттенок красного; что это цвет раздавленной блохи... Сегодняшний читатель озадачен: раздавленная блоха как-то не вяжется с платьем, явно дорогим и модным, в котором жена предводителя принимала гостей; сегодняшнему читателю покажется странным, что в моде были красновато-коричневый и красновато-бурый оттенки. А не лучше ли автору сказать, что дама надела дорогое, изящное, модное, своё лучшее платье к приёму гостей? И вообще, ни бархат, из которого сшита одежда, ни цвет — пюсовый! — не имеют значения в той истории, которую поведал нам Лев Николаевич Толстой.

По крайней мере, *пюсовый* — полноценное прилагательное, имеющее род и число, склоняемое по падежам, тогда как бывают случаи заимствования с нарушением русской грамматики. В романе «Война и мир» мы читали о сборах Ростовых на бал: «На графине должно было быть масака бархатное платье, на них двух белые дымковые на розовых шёлковых чехлах, с розанами в корсаже». Они — две девушки, Соня и Наташа Ростовы; мы вроде бы представляем их бальные одеяния — в общих чертах, красивым образом, но что такое *масака*, мы не знаем, и в примечаниях к роману объяснений не находим. В первой части предложения мне видится какое-то нарушение синтаксической нормы: *масака бархатное платье*. Если верить толкованиям, найденным в других печатных изданиях, *масака* значит *тёмно-красный с синеватым отливом, иссиня-малиновый*. Тогда у Толстого должно бы быть: *бархатное платье цвета масака*, хотя и в таком виде фраза режет слух, если сравнить, например, со следующими словосочетаниями: *платье цвета вишни, платок цвета сирени*. Мы встречаем слово *масака* ещё раз в этом же произведении и понимаем, что оно по какой-то причине принадлежит к неизменяемым: «Нет, право, та вопне amie, это платье нехорошо, — говорила Лиза, издали боком взглядывая на княжну. — Вели подать, у тебя там есть масака. Право! Что ж, ведь это, может быть, судьба жизни решается. А это слишком светло, нехорошо, нет, нехорошо!»

Во фразе у *тебя там есть масака* существительное *масака* как будто указывает на предмет одежды: в дамском гардеробе имеется, предположим, салоп, имеются роброн и клок, есть и масака. Но мы согласились, что *масака* указывает на цвет, и тогда при замене предмета одежды на обозначение цвета получится ещё одна нелепость: у *тебя там есть тёмно-красный цвет*. Поискав в других произведениях, мы обнаруживаем *масаку*, извините, находим *масака* в «Обыкновенной истории» И. А. Гончарова, с таким же *нерусским* употреблением: госпожа Адуева, отправляя сына в Петербург, даёт наставления, в том числе беречь одежду: «Куда попроще в люди, вот этот фрак масака надевай». Видимо, фрак тёмно-красного цвета? Иностранное *масака*, будучи заимствованным, не обкаталось в русском языке, не стало склоняться; как в наше время некоторые, вместо того, чтобы сказать: пейте *кока-колу* говорят: пейте *кока-кола*. Кстати, откуда *масака* взялась, из какого языка? Во французских словарях данное слово не обнаруживается. В модном журнале первой четверти XIX века я наткнулся на *massaca foncé* при описании женского платья; *foncé* значит *тёмный*; речь идёт о тёмном оттенке какого-то цвета. Какого? Английский модный журнал *Belle Assemblée* за январь 1819 года сообщал своим читательницам следующее: «The massaca brown, or marshmallow colour, is a favourite trimming on lemon-coloured hats». *Масака* рекомендовалась в качестве отделки для шляпок лимонного цвета. Добавка *brown* указывает на коричневый оттенок; предвидя непонимание, издатель привёл сравнение: такой цвет у мальвы болотной (*marshmallow*); посмотрев фотографии указанного растения, мы видим нежно-розовые, фиолетовые, почти белые цветочки...

Чем мы занимаемся? Ботаникой? Историей моды? Может, всё же текстологией и литературоведением? Похоже, мы впустую тратим время, досадуя на Льва Николаевича Толстого: была ли необходимость, так ли это важно — вставить в художественное произведение слово неизвестного происхождения, явно иностранное, но непонятно из каких краёв к нам прилетевшее, и, возможно, в России под ним понимали нечто иное, не совсем то, что во Франции и Англии. У меня есть подозрение, что оно, не закрепившееся в русском языке, было не вполне понятно и Толстому с Гончаровым, они использовали его в своих произведениях, дабы внести *колорит* в свои повествования о предшествующих временах.

Имеет ли значение одежда, её покрой и цвет, когда автор представляет нам того или иного героя? Думаю, не имеет; я вспоминаю греков в «Илиаде» и «Одиссее»: они как будто одинаково одеты. Вильям Шекспир не давал указаний актёрам, как наряжаться на постановку его пьес... Я ошибался! Оказалось, каждый школяр знает, что описание костюма способствует характеристике персонажа. Наши юнцы и юницы пишут *образцовые* школьные сочинения — прилежно переписывая готовые образцы из школьных же пособий и выдавая переписанное за свои мысли, и среди шаблонов имеется сочинение на нашу тему: «Одежда героев как деталь в раскрытии образа». Проявив любопытство, я прочитал: «В системе средств, создающих образ персонажа, важным элементом является его портрет. Это достигается Гоголем путём введения ряда ярких деталей или выделением одной характерной детали. Детали одежды не столько характеризуют внешний облик персонажа, сколько рассказывают о его характере, привычках, манере поведения. По принципу градации Гоголь выстраивает целую галерею образов помещиков: один хуже другого. Этот принцип сохраняется и в манере одеваться. Приехав в город, Чичиков первым делом навестил Манилова. Манилов встретил его в *зелёном шалоновом сюртуке*. У этого человека было всё чересчур, чувствуется манерность во всём». Каким слогом пишут наши юнцы и юницы! Видимо, умея в школьном возрасте играть словами, нести галиматью с умным видом, выдавать водотолчение за литературное исследование, они все поголовно пойдут в филологи и культурологи, станут литературоведами, литературными критиками и текстологами... Выслушав сии утверждения, я растерялся: по каким

признакам героев в «Мёртвых душах» расположили по озвученной *градации*: один хуже другого; видимо, под *градацией* имеется в виду очерёдность: кого Чичиков первым посетил, тот получше, кого посетил в конце, тот совсем дрянь.

Манилов был при встрече с Чичиковым в *шалоновом* сюртуке; сам Чичиков, насколько я помню, во *фраке брусничного цвета с искрой*. Манилов и Чичиков совершенно разные люди, но лично я не уверен, что в описании двух костюмов скрыт намёк на разность характеров. Не буду, однако, отвлекаться на школьное обучение, ибо могу договориться до того, что усомнюсь в его действительности или даже необходимости; скажу только по поводу литературы и русского языка, двух школьных предметов: есть ли необходимость преподавать их столь детально: дети занимаются вычленением морфем (толком не понимая, что это такое) и дают психологическую характеристику литературным персонажам (списывая рассуждения вроде только что зачитанного из именуемых шаблонов). Продолжу свои скромные рассуждения на уровне отдельных слов. Определение *шалоновый* непонятно читателю, и возникает необходимость дать объяснение. В каких-то изданиях «Мёртвых душ» в сноске имеется бесхитрое: *шалоновый* — это *сделанный из шалона*. Для уточнения потребуются дополнительные поиски по словарям и справочникам; если не все читатели, то, очевидно, те отроки и отроковицы, которые пишут столь серьёзные школьные сочинения, к поиску рьяно приступают, ищут и находят, что Шалон — название города во Франции, а как имя нарицательное это *тонкая шерстяная разных цветов материя*.

Можно встретить более подробное объяснение, предоставленное, как я понимаю, специалистом в ткацкой области: «Шалон — лёгкая однотонная двусторонняя, без изнанки шерстяная ткань саржевого переплетения. Имел тканый орнамент в виде диагональных полос на обеих сторонах. Ткань названа по месту первоначального производства Шалон-сюр-Марн во Франции». Видимо, особенность ткани именно в *саржевом переплетении* заключается, но мы уже не будем вникать в тонкости ткацкого производства. «Мёртвые души» — замечательное художественное произведение с занимательным сюжетом, с необычным развитием событий, с забавными сценами, комическими происшествиями и с неожиданными серьёзными размышлениями о русских нравах и обычаях; каждый персонаж у Гоголя диковинный, начиная с Чичикова, его портрет и портреты остальных героев написаны мастерски, и, честно говоря, просто жаль, что автор накидал в текст множество словечек, для уяснения которых приходится обращаться к технологическим справочникам. Повествование текло бы глаже, его достоинства не уменьшились бы, если бы автор обошёлся без *шалона, канифаса, ксандрейки, клока*... Одевая даму в *клетчатый щегольской клок*, Гоголь, видимо, представлял себе, как выглядит сей предмет одежды; если бы он написал, что дама была в *щегольской накидке*, и нам, читателям, было бы понятно, о чём идёт речь. В двухтомном издании избранных произведений Гоголя, вышедшем в 1984 году, в примечаниях к «Мёртвым душам» *клок* объясняется весьма неопределённо как *дамское верхнее платье*, и нам предоставлено решать: то ли это пальто, то ли манто, что ещё есть у дам из верхнего платья, не куртка же? Любознательному человеку снова приходится обращаться к специализированным справочникам по одежде для уяснения, что *клок*, идущее от английского *cloak* (плащ), значило *накидка без рукавов*.

До встречи с Маниловым главный герой, въезжая в город, увидел молодого человека «в белых канифасовых панталонах, весьма узких и коротких»; в случае с этими панталонами мы сталкиваемся с разноречивыми *интерпретациями*, в отличие от *шалона*, имеющего вроде как одно значение. Нас бы удовлетворило первое попавшееся объяснение, что идёт речь о «брюках из тонкой льняной ткани, преимущественно в полоску». Однако в Толковом словаре С. И. Ожегова *канифас* назван *лёгкой плотной хлопчатобумажной тканью с рельефным тканым рисунком*. Задумаемся: есть разница или нет разницы между льном и хлопком, можно ли считать полоски тканым рисунком? Обратимся к Малому академическому словарю, в котором, поскольку он академический,

предполагается наиболее точное толкование. По поводу прилагательного *канифасовый*, встречающегося в форме *канифасный*, сказано: «сшитый из канифаса». Что ж, просто и понятно, осталось обратиться к соседней статье, где существительное мужского рода *канифас* имеет два определения: «1. Полосатая бумажная ткань. 2. Толстая парусина». Если ткань называют полосатой, мы всё-таки представляем себе полосы, нанесённые краской, это не согласуется с объяснением *рельефный тканый рисунок*. Ознакомившись с *академическими* объяснениями, мы остаёмся в неведении: на молодом человеке были панталоны из лёгкой хлопчатобумажной или льняной ткани или же панталоны из толстой парусины?

Хотелось бы ещё побеседовать о предметах дамского туалета, не только верхних, но и нижних: в чём, например, разница между фильдеперсовыми чулками и фильдекосовыми... Оставим, однако, эту тему, ибо наше чисто филологическое любопытство примут по ошибке за физиологическое, сочтут нездоровым, сравнят с мечтаниями Поприщина в «Записках сумасшедшего» проникнуть взглядом в покои *её превосходительства*, как он называл дочь своего начальника: «Хотелось бы заглянуть туда, на ту половину, где её превосходительство, — вот куда хотелось бы мне! В будуар: как там стоят все эти баночки, скляночки, цветы такие, что и дохнуть на них страшно; как лежит там разбросанное её платье, больше похожее на воздух, чем на платье. Хотелось бы заглянуть в спальню... там-то, я думаю, чудеса, там-то, я думаю, рай, какого и на небесах нет. Посмотреть бы ту скамеечку, на которую она становит, вставая с постели, свою ножку, как надевается на эту ножку белый, как снег, чулочек... ай! ай! ай! ничего, ничего... молчание».

Гоголь, чувствуя разницу между приличным и неприличным, каким-то чутьём улавливая границу, которую литератору не следует переступать при изображении любовных чувств и сцен, в нужный момент умерил разыгравшееся воображение своего несчастного героя.

6

В январе 1871 года Л. Н. Толстой писал А. А. Фету: «С утра до ночи учусь по-гречески. <...> Я ничего не пишу, а только учусь. <...> Невероятно и ни на что не похоже, но я прочёл Ксенофонта и теперь à livre ouvert читаю его. Для Гомера же нужен только лексикон и немного напряжения. <...> Я наслаждаюсь, во-вторых, убедился, что из всего истинно прекрасного и простого прекрасного, что произвело слово человеческое, я до сих пор ничего не знал, как и все (исключая профессоров, которые, хоть и знают, не понимают), в-третьих, тому, что я не пишу и писать дребедени многословной, вроде «Войны», я больше никогда не стану. И виноват и, ей-богу, никогда не буду.

Ради бога, объясните мне, почему никто не знает басен Эзопа, ни даже прелестного Ксенофонта, не говоря уже о Платоне, Гомере, которые мне предстоят. Сколько я теперь уж могу судить, Гомер только изгажен нашими, взятыми с немецкого образца, переводами. Пошлое, но невольное сравнение — отварная и дистиллированная тёплая вода и вода из ключа, ломящая зубы — с блеском и солнцем и даже со щепками и соринками, от которых она ещё чище и свежее».

Мы вспоминаем ранее прозвучавшее мнение Пушкина: «Гомер, если и существовал, искажён рапсодами». Я бы не стал говорить *искажён*, ибо нам не известен подлинный текст, первоисточник (если таковой существовал), с которым производилось бы сравнение, я бы сказал, что Гомер *изменён* исполнителями, в чём не может быть сомнения: представляя слушателям старинные произведения, рапсоды вносили что-то своё в Гомера, дополняя, сокращая, складывая в одно исполнение несколько кусков, меняя одни слова на другие, точно так, как одни и те же русские былины и карело-финские руны

отличались в исполнении разных сказителей. Конечно, мы судим об «Илиаде» и «Одиссее» по пересказам и перепевам, записанным намного позже того времени, когда жил Гомер; если Гомер вообще существовал. Толстой тоже считает, что Гомер *изгажен*; он судит как человек, знакомый с древнегреческими текстами, но позволю усомниться в его суждении, ибо он только что, по собственному признанию, взялся *учиться по-гречески*, так что он заговаривается, приводя с видом знатока сравнение кипячёной воды с родниковой.

Называя роман «Война и мир» многословной дребеденью, автор рисуется: роман принёс ему мировую славу, похвалы Толстой любил... Продолжу свою мысль: если литератор не старается подражать имеющимся образцам *истинно прекрасного и простого прекрасного*, как только что выразился Толстой, его произведение будет непременно *изгажено и искажено*. В отличие от «Одиссеи» и «Илиады», написанных от начала до конца на одном языке, большие куски в романе «Война и мир» написаны по-французски, и вот вам примеры искажения или, если хотите, изгаживания, хотя лично я называю это непониманием, виной которому сам автор.

В наше время совсем мало кто знает французский. Выписывая примеры со словом *масака* из своего издания «Войны и мира» (издательство «Художественная литература», 1972 год), я обратил внимание на то, что французское название причёски, выбранной для Сони и Наташи Ростовых перед поездкой на бал, напечатано слитно: «Волоса должны были причёсаны *à la grecque*». Здесь ошибка наборщика, которую не исправили редактор и корректор. Следует разделить слияние на три составляющих: *à la grecque* (в греческом стиле). Вся глава (четырнадцатая в третьей части второго тома) посвящена сборам Ростовых на бал, устроенный в доме знатного вельможи накануне Нового года; указание на время даётся автором в первом предложении: «31-го декабря, накануне нового 1810 года, *le réveillon*, был бал у екатерининского вельможи. На бале должен был быть дипломатический корпус и государь...» К французскому слову *le réveillon* имеется сноска с переводом: *сочельник*. Здесь ошибка переводчика или человека, ответственного за подготовку книги в печать. Эту ошибку должен был исправить редактор; даже не зная французского, он сказал бы: Толстой ведь называет дату, 31-е декабря, ведь здесь написано: *накануне нового года*, какой же это сочельник! Но редактор такого замечания не сделал, и ошибка присутствует в моём и не только в моём издании.

Le réveillon значит *канун*; бал состоялся в канун Нового года; я бы сказал, что Толстой повторяет одно и то же по-русски и по-французски; для разнообразия можно перевести французское слово в *новогоднюю ночь*.

Перед началом бала Наташа Ростова увидела, узнала Болконского, «который показался ей очень помолодевшим, повеселевшим и похорошевшим». Перонской, спутнице Ростовых, князь Андрей по какой-то причине не нравился: «Терпеть не могу. *Il fait à présent la pluie et le beau temps*. И гордость такая, что границ нет! По папеньке пошёл. И связался с Сперанским, какие-то проекты пишут. Смотрите, как с дамами обращается! Она с ним говорит, а он отвернулся, — сказала она, указывая на него. — Я бы его отделала, коли б он со мной так поступил, как с этими дамами».

Для французского вкрапления даётся следующий перевод: «По нём теперь все с ума сходят». Читатель принимает его, поскольку он как будто согласуется с тем, что написано по-русски: князь Андрей окружён дамами, они, предположим, без ума от него, *помолодевшего* и *похорошевшего*. Но прозвучавший французский речевой оборот имеет другое значение, так говорят о человеке, который делает погоду, играет первую скрипку, всем заправляет, правит бал... Перонская сообщает: князь Андрей приобрёл сейчас большое влияние, имея в виду влияние при дворе, в обществе.

При беглом просмотре двух глав мы заметили три ошибки, допущенные людьми, взявшимися объяснять читателям, *интерпретировать* то, что написано Толстым. При внимательном и придирчивом чтении наберутся десятки и сотни подобных ошибок.

Текстология призвана объяснять тексты, способствовать тому, чтобы памятник письменности был лучше понят, или же мы смогли бы хоть что-то в нём понять, когда в нашем распоряжении оказалась старая или старинная рукопись, написанная на языке своего времени, при этом она частично утрачена и местами попорчена. Мы соглашаемся, что работа, задачи и цели текстолога подразумевают улучшение, изменение к лучшему, совершенствование. Но *искусством толкования* занимаются люди, людям свойственно ошибаться, заблуждаться, человек, взявшийся истолковывать то или иное произведение, имеет личные взгляды на окружающую действительность, бывает, очень даже диковинные, у него своё понимание обыденных и исторических событий, свои предпочтения и предубеждения, вплоть до суеверия; в конце концов, он может быть не очень умным и недостаточно образованным, и, что немаловажно, даже при работе над текстом из давней эпохи сегодняшние текстологи подпадают под влияние сегодняшней идеологии, они не могут не учитывать политические требования своего времени, они порой подделываются под запросы и вкусы общества, в котором живут, и бывают случаи, когда неверное, неграмотное или предвзятое объяснение не приближает, а отдаляет письменный памятник от нашего понимания.

Имея представление о текстологии в *общих чертах*, не умея дать точное определение, тем более, что говорить о точном в данном случае вряд ли возможно, я обратился за помощью к Большой советской энциклопедии (к её третьему изданию), где текстология объясняется следующим образом: «Отрасль филологии, изучающая произведения письменности, литературы и фольклора в целях критической проверки, установления и организации их текстов для дальнейшего исследования, интерпретации и публикации...» Нет необходимости воспроизводить всю статью: во-первых, она довольно объёмистая; во-вторых, в первом предложении мы, вроде бы, находим короткое и ёмкое определение, и сейчас нас не интересует детализация по пунктам. В-третьих, грамматическое построение вступительной фразы навело меня на подозрение, что *энциклопедисты* имеют столь же общее и несколько расплывчатое представление о предмете, какое имеется у меня самого.

Мне видятся какие-то уловки, уход от прямого вопроса, умственные блуждания или заблуждения, или же неграмотность во всех *произведениях письменности*, где автор выстраивает длинный ряд существительных в родительном падеже, как в только что зачитанном отрыве: *в целях критической проверки, установления и организации их текстов...* Мы сталкиваемся с таким *литературным приёмом* в казённых постановлениях и предписаниях, например, поступающих от жилищной конторы с напоминанием о *необходимости своевременного внесения квартплаты*. Мы слышим его в политических обещаниях о *повышении уровня благосостояния нашего народа*, и поскольку подобные обещания невыполнимы, требуется именно такой слог с *целью создания благоприятного впечатления*.

Чтобы не показаться высокомерным критиком, обвиняющим всех вокруг в скудоумии или хитром умысле, дабы не впасть в злобный жар, каким прославился древнегреческий оратор Зоил, цеплявшийся к произведениям Гомера, я готов признать, что иногда и канцеляристу, и мастеру пера просто не удаётся, при всём хотении и старании, выразить внятно вроде как понятную мысль. Дожидаясь, когда придёт лифт, я рассматриваю в очередной раз табличку, напоминающую об *опасности проникновения в шахту лифта*, я пытаюсь выразить написанное другими словами и избавиться от двусмысленности, и у меня не получается. Понятно, что это предупреждение нетрезвым гражданам, не вполне ведающим, что они творят, и в своём неведении в недозволенные

места проникающим, и также недорослям, которые забираются на крышу кабины в поиске острых ощущений, — геройски покатаются необычным способом; но, читая правила пользования, и мирный обыватель может задуматься о своей безопасности, ибо, входя в лифт, он, в общем-то, *проникает в шахту*. Складной фразы, не допускающей иных толкований, у меня, повторяю, не получается, и к текстологическим, так сказать, размышлениям подключаются размышления чуть ли не философские: нетрезвые граждане, как и геройские недоросли, табличку не читали и не станут читать, письменные и устные предупреждения и запреты не остановят их от пьяных и дерзких деяний, обыватели тоже не читают, тем более что инструкция состоит не из одной фразы, а из многих пунктов, оттиснутых мелким шрифтом. Вывод: совсем не развешивать подобные таблички — за их ненужность! Сие, однако, невозможно: рано или поздно в любую контору, в любой подъезд, в любые ответвления, закоулки и тупики городского устройства является какая-либо проверяющая комиссия и строго вопрошает: где правила пользования, где инструкция по применению, где указание о запрете курения и распития спиртных напитков? Недавно я прочитал на стволе большого дерева, произрастающего рядом с нами около детской площадки: находится под его кроной в пределах стольких-то метров опасно; казалось бы, если опасно, спилите дерево — во избежание опасности, особенно при сильном ветре, но ведь деревья кислород вырабатывают, жителей от городской пыли и шума спасают, так что спиливать нельзя... Выход: повесим табличку!

Оратор Зоил прославился мелочными придирками, но объектом нападок он выбрал всё же тексты Гомера, а не надписи на стенах, заборах, деревьях и скамейках, оные, полагаю, находятся вне интересов текстологии, и я постараюсь переключить внимание на не столь приземлённые или даже низменные *памятники письменности*.

8

Усматривая какие-то хитрости, уловки или неграмотность со стороны авторов, использующих *нанизывание родительных падежей*, я не сообразил, что бросаю невольно камень в научное сообщество, которое по каким-то причинам выбрало для высказывания своих мыслей, идей, гипотез и доказательств как раз тот стиль, где нанизывание падежей является нормой или даже показателем учёности: не лишь бы кто написал статью, но человек с научной степенью или на степень претендующий! Не желая подвергать сомнению правильность чьих-либо суждений или даже учений, выскажу всё же в мягкой форме своё замечание: выстраивая цепочкой существительные в косвенных падежах, особенно в купе с причастными и деепричастными оборотами, тоже ставшими показателем научности, автор, бывает, сам запутывается и неверно согласует в роде, числе и падеже одни существительные с другими существительными или существительные с причастиями, из-под его пера выходят неправильные падежные окончания, возникают синтаксические ошибки, которые иногда, скажем так, безобидны, иногда же они искажают или извращают смысл высказываний. Дабы никто не заподозрил выпада против каких-либо авторов и научных коллективов, постараюсь приводить примеры с участием самого себя; я предпочитаю художественные произведения, но мне пришлось редактировать учебные пособия для школьников и методические разработки для педагогов, и были случаи, когда, пытаясь уловить мысль, заключённую в длинных сложносочинённых и сложноподчинённых построениях, я не справлялся с её уловлением или выявлением из заключения; я предлагал автору переписать то же самое простым языком, особенно когда пособие предназначалось школьникам; не все соглашались, некоторые обижались: они серьёзные люди, пишут серьёзные пособия с серьёзной целью улучшения понимания учащимися школьного материала для его глубокого усвоения в классе с последующим закреплением при выполнении домашнего задания, и в глазах некоторых авторов читалось: если редактору наши научно-педагогические разработки не по уму, шёл бы из

редакторов воспитателем в детский сад читать малым детям и себе сказки про Иванушку-дурачка.

Составителям технического справочника несложно дать определение болта, гайки, ротора со статором, не составит труда описать даже вечный двигатель и доказать, привлекая неоспоримые законы механики, почему он не будет работать; куда труднее объяснить, например, что такое язык, или что такое истина; если не получается коротко и доходчиво, прибегнув к многословию, к сложноподчинённым периодам, то есть синтаксическим построениям, с *накручиванием*, простите, *нанизыванием косвенных надежд*, мы надеемся, обманывая себя, что количество привлечённых языковых средств в какой-то момент само собой, неким скачком, переродится в качество, и наше толкование обретёт законченность, отточенность... однозначность!

А если отдавать предпочтение глаголу? Используя глаголы и простой порядок слов, мы лучше замечаем отсутствие логики в своих рассуждениях, нам, бывает, прямо-таки *бросается в глаза* расплывчатость собственных высказываний и неточность определений. Посмотрите: когда *в глагольной форме* даётся приказ или наказ, издаётся указ, они понятны и тому, кто их изрекает или издаёт, они не допускают иного понимания и превратного толкования со стороны тех, кому *приказо-наказо-указы* надлежит исполнять. Приведу наглядные примеры, бьющие, как говорится, не в бровь, а в глаз: «Не влезай, убьёт!» (табличка на высоковольтной мачте); «Посторонним не входить!» (везде, где ваше присутствие нежелательно); «Будьте бдительны в радиусе тридцати метров!» (объявление на высоком дереве около детской площадки недалеко от нашего дома; нет сомнений, что проявляется забота о безопасности обывателей, ибо дерево во время сильного ветра может упасть, это отнюдь не призыв бдительно следить, не укрываются ли в указанном радиусе зарубежные шпионы и отечественные правонарушители); «Стоять, руки вверх!» (в кинофильмах про войну, про вражеских, опять же, шпионов, разоблачаемых нашими разведчиками, про нашу милицию, которая нас берегла, про нашу полицию, которая теперь бережёт нас вместо милиции); обратившись к более значимым и возвышенным речениям, вспомню: «Марш, марш вперёд, рабочий народ!» (слова из революционной песни, которую мы разучивали и пели под аккордеон в школе, готовясь, в случае необходимости, отправиться *на бой кровавый, святой и правый*); «Не убивай» (одна из заповедей Божественного закона, приводимая в ветхозаветной Книге Исход); «Ворожеи не оставляй в живых. Всякий скотоложник да будет предан смерти. Приносящий жертву богам, кроме одного Господа, да будет истреблён» (предписания из того же закона в той же книге, глава 22:18-20).

9

В предложении, взятом из статьи, объясняющей нам суть текстологии, давайте заменим по возможности существительные глаголами. Получится: текстология изучает произведения письменности, литературы и фольклора, чтобы критически проверять, устанавливать и организовывать их тексты, чтобы в дальнейшем их исследовать, интерпретировать и публиковать.

Когда шла череда существительных в родительном падеже, слова как-то *органически* лепились друг к другу, взгляд скользил по ним без запинки, и определение вроде бы доносило до нашего сознания смысл, в нём заложенный; я бы так выразился: *косвенно* доносило, не напрямую, и не смысл, а некое подобие смысла. Знакомясь с моим *переводом на глаголы*, читающие, подозреваю, сразу начнут придирааться и вопрошать: произведения литературы — нечто отдельное от произведений письменности? Потом, смотрите, вы изучаете произведения, но критически проверяете их тексты; под произведением следует понимать нечто одно, а его текст как нечто другое? Как-то странно

вы выражаетесь: устанавливать и организовывать их тексты. Может быть, восстанавливать? Или устанавливать происхождение, авторство, отыскивать подлинник, который был, предположим, искажён рядом переписчиков, машинисток, наборщиков, редакторов и цензоров? И здесь не совсем удачно у вас звучит: *организовывать тексты*; глагол *организовать* хорошо понимается, когда кто-то организовал, предположим, новое предприятие или доставку еды всем, желающим организовать пиршество. Вы разделяете (или как будто разделяете) изучение произведений на два этапа: сначала критически проверять, устанавливать и организовывать их тексты, потом, *в дальнейшем*, другие специалисты, не текстологи, будут их исследовать, интерпретировать и публиковать? Если так, если исследование, интерпретация и публикация не входят в задачи текстологов, нет необходимости говорить об этом в статье, посвященной текстологии. Говорите об этом, описывая цели и задачи исследователей, интерпретаторов и публикаторов. Вы бы ещё вписали сюда, что за публикацией, *в дальнейшем*, предполагается продажа книгопечатной продукции через сеть книжных магазинов *с целью получения денежной прибыли*. Вообще, как вы считаете, на первом этапе, на текстологическом, исследования и интерпретации не нужны, можно ограничиться критической проверкой и установлением текста?

Думаю, если переписать всю статью с той грамматической переделкой, которую я позволил себе по отношению к одному параграфу, и представить в редакцию какого-либо энциклопедического словаря, редактор сразу разглядит, к чему придраться, он выскажет замечания, схожие с теми, что прозвучали выше. Редакция отвергла бы мой вариант статьи (и как произведение письменности, и как его текст), и в печать пошло бы, после *критической проверки и организации текста для публикации*, что-либо похожее на объяснение, найденное нами в Большой советской энциклопедии.

10

Глаголы тоже бывают разные, и я не стал бы использовать ни существительное *интерпретация* (используемое в разных дисциплинах с разным или слегка разным значением), ни однокоренной глагол *интерпретировать* применительно к рукописям: их просто требуется подготовить к печати, проследив, чтобы не было грамматических ошибок, чтобы неясные слова, понятия, места, названия и явления объяснялись бы в сносках и примечаниях; я бы предложил вместо *интерпретации* говорить: *истолкование, объяснение, раскрытие смысла* — так будет понятно не только выпускникам филологического факультета, но и тем, в чьи руки печатные издания попадают, от школьников до *широкого читателя*. Если какие-либо непонятные вещи не удаётся объяснить, об этом, я считаю, тоже желательно сообщать публике (а не отмалчиваться *с умным видом*); например, в Ветхом завете, в Книге Исход, мы находим подробнейшее наставление, как изготавливать священническое одеяние, и среди прочих деталей называются *урим и туммим*: «На наперсник судный возложи урим и туммим, и они будут у сердца Ааронова, когда будет он входить *во святилище* пред лице Господне; и будет Аарон всегда носить суд сынов Израилевых у сердца своего пред лицом Господним» (Исх 28:30). Должна быть сноска: смысл слова *урим* и слова *туммим* непонятен. Лично мне также кажется, что зачитанный отрывок требуется ещё раз сравнить с подлинником и перевести по-иному, потому что сейчас в нём явная нестыковка: в начале говорится об одном, а в заключительной части о другом: *урим и туммим*, судя по описанию, предметы, осязаемые вещи, их можно возложить, прикрепить, поместить на наперсник, они не могут быть *судом сынов Израилевых* ни в прямом, ни в переносном смысле.

Мне возразят, даже с иронией: я завёл разговор о текстологии, но перескочил на издательскую деятельность и толкую о прозаических рабочих моментах в повседневной работе редактора, который готовит материалы к печати. Если вернуться к статье

в Большой советской энциклопедии, в ней не сказано ничего об устранении грамматических ошибок, о примечаниях и сносках с объяснением непонятных слов, там говорится о критической проверке, об организации текстов... Мне посоветуют ознакомиться с определением *интерпретации* применительно к литературоведению, где как раз идёт речь об истолковании, об объяснении; вот послушайте: «В литературоведении интерпретация — истолкование текста с целью понимания его смысла».

Почему я опять задумался? По окончанию фразы можно предполагать, что пропускается возможность истолковывать текст с целью непонимания смысла?

По большому счёту, получается то, что я наблюдал не раз в своей редакторской работе: кто-то длительно учится в высшей школе, овладевая литературоведческими и текстологическими способностями *установления и организации текстов для дальнейшего исследования*, и, я готов согласиться, в своих курсовых и дипломных работах, в диссертациях и монографиях литературоведы и текстологи высказывают какие-либо полезные общие мысли и успешно *интерпретируют* какие-либо частности в тех или иных расплывчатых писаниях, но занятия текстологией не способствуют тому, чтобы в издательствах печатались безупречные... нет, о чём-то безупречном можно только мечтать, но в публикуемых книгах мы видим и смысловую ахинею, и отсутствие пояснений там, где без них отдельные слова и целые фразы, а то и суть происходящего непонятны. Или же, что куда любопытнее, появляются истолкования самые неожиданные, которые, как мне кажется, *понимаю смысла* отнюдь не способствуют.

В декабре 1833 года в городе Петербурге случилось *необыкновенно странное происшествие* (пользуюсь словосочетанием из начальной фразы в повести «Нос», наполненной фантастическими выдумками); нам известно о случившемся, прежде всего, потому что А. С. Пушкин оставил следующую запись в своём дневнике: «В городе говорят о странном происшествии. В одном из домов, принадлежащих ведомству придворной конюшни, мебели вздумали двигаться и прыгать; дело пошло по начальству. Кн. В. Долгорукий нарядил следствие. Один из чиновников призвал попа, но во время молебна стулья и столы не хотели стоять смиренно. Об этом идут разные толки. Н. сказал, что мебель придворная и просится в Аничков».

Улицы не безопасны. Сухтельн был атакован на Дворцовой площади и ограблен. Полиция, видно, занимается политикой, а не ворами и мостовую. Блудова обокрали прошедшею ночью».

Год 1833-й не был военным или послевоенным, революционным или послереволюционным — обычный год с обычным перечнем происшествий и обычным уровнем преступности, как, скажем, нынешний 2019-й; пока кого-то грабят, полиция, видно, занимается политикой, какие-нибудь шалуны развлекаются, *двигают мебели* или творят иные чудеса, их выходки привлекают внимание общества, в котором рождаются слухи, обрастающие при каждой последующей передаче отсебятиной. Неназванный господин пошутил: мебель, взятая в Конюшенное ведомство из царского Аничкова дворца, сама просится обратно в царские покои!

Передаю слово М. Н. Лонгинову (1823–1875), чей рассказ приводится в сборнике «Гоголь в воспоминаниях современников» (изданном в 1952 году): «Гоголь скоро сделался в нашем доме очень близким человеком. В дни уроков своих он часто у нас обедал и выбирал обыкновенно за столом место поближе к нам, детям, потешаясь и нашею болтовнёй и сам предаваясь своей весёлости. Рассказы его бывали уморительны; как теперь помню комизм, с которым он передавал, например, городские слухи и толки о танцующих стульях в каком-то доме Конюшенной улицы, бывшие тогда во всём разгаре. Кажется, этот анекдот особенно забавлял его, потому что несколько лет спустя вспоминал он о нём в своей повести «Нос»...»

Составители сборника дали полезное примечание (прилежно указывая, откуда почерпнуты сведения): «Толки о *танцующих стульях* вызвали в конце 1833 года большой переполох в Петербурге. 17 декабря 1833 года Пушкин записал в «Дневнике»: «В городе говорят о странном происшествии <...>» Об этой же мистификации 4 января 1834 года П. А. Вяземский сообщал А. И. Тургеневу <...>. Слухи о *танцующих стульях* дошли и до Москвы. А. Я. Булгаков запрашивал 25 декабря 1833 года своего брата, жившего в Петербурге: “Что это у вас за чудеса были со стульями у какого-то конюшенного чиновника? Только и разговора здесь... Такая тревога, что не поверишь”...»

Пушкин не был суеверным или богобоязненным; к слухам о танцующих стульях он прикрепил чьё-то шутливое объяснение: *мебели* просят в Аничков дворец. Следует обратить внимание, что Пушкин не пишет о рюмках, подпрыгивающих до потолка, — запоминающаяся деталь, которую сообщали другие современники; в этом особенность слухов и сплетен: к одному услышанному слову каждый прибавит, по народной поговорке, десять, и, поскольку не мухи переносят слухи, а люди, можно представить, сколько прибавлений и *интерпретаций* возникло в многолюдном городе Петербурге. В наши дни известны многочисленные истории с недорослями, обладающими *паранормальными способностями*, которые зажигают что-либо прикосновением руки, из пальца у них якобы искра вылетает; во всех случаях возгорание происходит без очевидцев, уже потом мы слышим, как кто-то клянётся: я собственными глазами всё видел! В характере Пушкина язвить: полиция занимается политикой, а не ворами; напрашиваются сравнения: в коммунистическое время правоохранительные органы усиленно выявляли граждан, читающих недозволенные книжки, и вообще активно *боролись с инакомыслящими*, в наши дни мы наблюдаем, как слаженно действует полиция многими своими подразделениями, обеспечивая, например, беспрепятственный проезд по городу высокопоставленных чиновников; невольно приходят мысли сродни пушкинским: эти силы направить бы, действительно, на поимку воров...

Гоголь смеялся, *уморительно* рассказывая о *танцующих стульях*. Люди, готовившие «Воспоминания современников» к печати, не занимались *организацией текста* или *интерпретациями*, они добросовестно собрали материалы для сборника, и в примечании к свидетельству Лонгинова назвали *странное происшествие* мистификацией — чем оно и было. Теперь выслушаем то, что нельзя назвать иначе как литературоведческой интерпретацией, явно *имеющей целью понимание смысла*; я обнаружил её в примечаниях к упомянутой повести «Нос» в отдельном издании «Петербургских повестей» Н. В. Гоголя, осуществлённом в 2002 году; обращаю внимание, что на обложке издателем значится «Детская литература», и указано, что книга вышла в серии «Школьная библиотека». В наше время, куда более просвещённое, нежели 1833 и 1952 годы, школьникам интерпретируют или, если не возражаете, попросту объясняют, что стулья танцевали из-за полтергейста!

«В повести упоминается история о *танцующих стульях* в Конюшенной улице. Князь Пётр Андреевич Вяземский писал по этому поводу своему другу Александру Тургеневу в январе 1834 года из Петербурга: “Здесь долго говорили о странном явлении в доме конюшни придворной: в комнатах одного из чиновников стулья, столы плясали, кувыркались, рюмки, налитые вином, кидались в потолок; призвали свидетелей, священника со святою водою, но бал не унимался”. — Подобные явления в нашу эпоху получили наименование полтергейст. В реальности подобных *невероятных* происшествий сомневаться не приходится».

Наконец-то *странное явление* получило *верную* интерпретацию: полтергейст. В реальности *пляшущих столов* и *рюмок, кидающихся в потолок*, можно больше не сомневаться. Как и в реальности той *странно невероятной истории* про майора Ковалёва, который, проснувшись в один прекрасный день, не обнаружил на своей физиономии носа.

Бывает, всё бывает, пусть редко, но случается в жизни и такое, не сомневайтесь, Гоголь это не придумал!

11

В свидетельствах, оставленных современниками, мы находим отзывы о *странном* характере самого Гоголя, сообщается о его непредсказуемых поступках, о перепадах настроения; Д. М. Погодин (1836–1890), например, вспоминал время, когда Николай Васильевич жил в их доме: «Несмотря на жар в комнате, мы заставляли его ещё в шерстяной фуфайке поверх сорочки. — Ну, сидеть, да смиренно! — скажет он и продолжает своё дело, состоявшее обыкновенно в вязанье на спицах шарфа или ермолки или в писании чего-то чрезвычайно мелким почерком на чрезвычайно маленьких клочках бумаги. Клочки эти он иногда, прочитывая вполголоса, рвал, как бы сердясь, или бросал на пол, потом заставлял нас подбирать их с пола и раскладывать по указанию, причём гладил по голове и благодарил, когда ему угождали; иногда же, бывало, как бы рассердившись, схватит за ухо и выведет на хоры: это значило — на целый день уже и не показывайся ему...» Белинский по прочтении «Выбранных мест из переписки с друзьями» не верил своим глазам: неужели это плоды раздумий того Гоголя, который написал «Ревизора» и «Мёртвые души»? Напомню отзыв *неистового Виссариона* — по-моему, чрезмерно резкий, ибо, если критик подозревал болезнь у Гоголя, следовало учитывать: человек нездоров; тем более что критик намекает на душевный недуг: мы не всякого нормального человека можем в чём-либо убедить или переубедить, а какой смысл выговаривать впустую тому, кто пребывает в тягостном болезненном состоянии? Нас распирает от негодования, нам хочется высказаться, но наши гневные речи скажутся отнюдь не благотворно на расстроенных нервах того, кого мы обличаем.

«Не может быть! Или вы больны — и вам надо лечиться, или... не смею досказать моей мысли!.. Проповедник кнута, апостол невежества, поборник обскурантизма и мракобесия, панегирист татарских нравов — что вы делаете! Взгляните себе под ноги, — ведь вы стоите над бездною... Что вы подобное учение опираете на православную церковь, это я ещё понимаю: она всегда была опорой кнута и угодницей деспотизма; но Христа-то зачем вы примешали тут?»

Знакомясь со свидетельствами, собранными, например, В. В. Вересаевым (1867–1945) в книге «Гоголь в жизни», читая произведения самого Гоголя, мы тоже недоумеваем, замечая, как автор говорит одно, а позже, начиная объяснять смысл и цели своего творчества, то ли не понимает им же написанное, то ли понимает превратно. При этом он словно оправдывается перед кем-то, уверяет, что имел в виду нечто другое... Собственно, мне незачем напрягать мысли и не без труда подыскивать нужные слова, ибо об этом было сказано верно и без напряжения ещё в 1902 году В. В. Розановым (1856–1919) в статье «Гоголь», напечатанной в журнале «Мир искусства» (том 8, № 12): «Он впечатлителен, он отдаётся влияниям, от Пушкина до священника Матвея Ржевского, — он, столь могущественный человек. Он слаб, он ищет опоры, этот насмешник и скрытный человек. Что же это значит? Он вечно борется с собою: он вечно кого-то поборает в себе. — В нём был легион бесов, — как сказано о ком-то в Евангелии, — и они мучат и кричат в нём. — И Гоголь был похож на такого *бесноватого*, или, пожалуй, на *ящик Пандоры* с запертыми в нём самыми противоположными ветрами. Он вечно боится что-то *выпустить* из себя, таится, хитрит, не говорит о себе всего другим; и вместе в этих других явно ищет опоры против кого же, если не против себя. Он даже о своих творениях объяснял, что писание их составляло ступени его внутренней с собою борьбы, *улучшений* себя. Он вечно кается — непонятно в чём».

По мнению Розанова: «Биографы гадают и, по всему вероятно, никогда не разгадают Гоголя».

По прошествии более чем столетия мало что изменилось, Гоголь остаётся неразгаданным, судя по высказыванию Игоря Золотусского в предисловии к переизданию сборника «Гоголь в жизни»: «Биография Гоголя до сих пор не написана. Выходили «Записки о жизни Гоголя», «Материалы к биографии Гоголя» (их авторами были П. Кулиш и В. Шенрок), но полного описания жития Гоголя нет и, по всему видно, скоро не будет. Наука о Гоголе, как и вся наша наука, только ещё выбирается из-под обломков предубеждений, запретов и умолчаний, а также безоговорочного господства *идеологии*, привыкшей гнуть под себя факты».

Но вот наступило освобождение от коммунистической идеологии, хотя коммунистические идеи остались в чьи-то умах; российское литературоведение после того, как оно десятилетиями интерпретировало всё написанное и издаваемое преимущественно с точки зрения марксизма-ленинизма, с его материалистических и атеистических позиций, должно, казалось бы, вздохнуть свободно и рассуждать непредвзято о литературе всех периодов и правлений, отбросив предубеждения, не прибегая к умолчаниям. А оно, литературоведение, повертев освободившейся шеей, ощутило какой-то *дискомфорт* и само надело себе на шею новый хомут: прониклось не очень глубоко православием в его квасном варианте, вооружилось терминологией, заимствованной у американских лингвистов... Предыдущие поколения ждали, когда будут даны объяснения по поводу всех гоголевских загадок, и вот ясность внесена! Биографии никто так и не составил, зато нас завалили умильными писаниями о *духовных поисках* Гоголя. Литературно-филологические авторитеты объяснили *танцующие стулья*: это полтергейст; нас заверили, что история с отделением носа от физиономии майора Ковалёва не выдумка, такое могло произойти в реальности; и роль Гоголя в нашей литературе, когда больше нет *запретов и умолчаний*, наконец-то определилась — в работах докторов как от богословия, так и от филологии утверждается: Гоголь самый церковный писатель в русской литературе, а его самым значимым произведением являются «Размышления о Божественной литургии»!

12

В первой части своего очерка я приводил пример: взяв «Сравнительные жизнеописания» Плутарха — в наше время изданную книгу, я встретил несколько раз упоминание о человеке по имени *Красе*; мне не сразу стало понятно, что имеется в виду (полководец Марк Лициний) Красс. В целом исторический труд, заслуживающий уважения, был издан небрежно, с сокращёнными примечаниями, заимствованными из издания советских времён, и не в первый раз я задумался о недостижимости не то что совершенства, а полагающегося качества. При коммунизме с его, как выразился Золотусский, безоговорочным господством идеологии, *привыкшей гнуть под себя факты*, выходили добросовестно подготовленные, тщательно отредактированные и вычитанные, прилежно свёрстаные академические издания; казалось бы, в новое время можно взять их за основу, устранить недостатки, те же умолчания, проистекающие из *предубеждений и запретов*... Не получается. Как всегда и везде: что-то улучшается и одновременно что-то ухудшается. У новых издателей иное представление о книгопечатании (главное, побыстрее выпустить как можно больше продаваемого читая), у новых редакторов иное отношение к редакторской работе (выпустить побольше читая, самому его не читая); понятно, что и очередное поколение авторов по-иному представляет себе, как и о чём следует писать, и у читателей изменяются вкусы и вообще представление о том, что такое *хорошая* литература.

Но мы обсуждаем теперь не создание письменных памятников, мы говорим об их

интерпретации; я вижу, что объяснение текстов зависит от личного подхода — прежде всего, от склада ума того, кто берётся за работу, то есть оно субъективно, и на текстологически-литературоведческие выводы и оценки сильнейшим образом влияет если не идеология, то преобладающие в обществе настроения. В советское время литературоведы вслед за Пушкиным усиленно выставляли и Гоголя обличителем крепостничества и самодержавия, приводя в доказательство цитаты из его произведений и писем; сегодня мы имеем те же произведения, и те же письма, и те же воспоминания современников, собранные Кулишом, Шенроком и Вересаевым, но факты опять *гнутся*, в частности, из угодничества перед временщиками от культуры, и посмотрите, как изменились *интерпретации*: нам рассказывают, что Гоголь чуть ли не с отрочества возил с собой Библию, и нам повествуют (с елейным умилением, какого не встретишь в отзывах о его жизни и творчестве даже в дореволюционные годы, когда большинство населения было верующим или уж точно крещёным, и церковь была одной из ветвей государственной власти) — повествуют не только широкому кругу читателей, сегодня школьников уверяют, что Гоголь вовсе не страдал душевной болезнью, как утверждали прежние злопыхатели, с ним произошёл *духовный перелом*, после которого Гоголь *твёрдо пошёл по пути Богослужения, Богоугождения*. Читая подобные интерпретации, лично я сомневаюсь, как раньше сомневался, когда Гоголя представляли обличителем крепостничества, а Пушкина революционером, готовым отстегать плетью царя: можно ли говорить серьёзно о научности литературоведения (и текстологии)? Если потребует верховный правитель, власть, преобладающие в обществе настроения, они докажут, не только с учёным видом, но и с научными обоснованиями, что, например, «Слово о полку Игореве» — подлинный памятник древнерусской письменности; но, если желаете, можно доказать, бойко оперируя такими словечками, как *семиотика*, и то, что это мистификация, розыгрыш какого-то литературного шалуна.

В школах моего времени, повторяю, учеников заставляли учить наизусть оду «Вольность» с указанием обратить особое внимание на следующие строки:

Самовластительный злодей,
Тебя, твой трон я ненавижу,
Твою погибель, смерть детей
С жестокой радости вижу.

Не помню, и нет нужды искать по учебникам и пособиям, какие объяснения давались в 1960-е годы по поводу *злодея*: кого Пушкин имел в виду, и почему Пушкин радуется, предвидя его погибель, по какой причине поэт столь жестоко настроен против детей злодея... Думаю, особых объяснений и не требовалось: ответы в *воздухе витали*, все знали, в умах угнездилось: свободолюбивый Пушкин желал смерти Николаю I за то, что тот подавил восстание декабристов, повесил их вождей, пламенных борцов за свободу, и отправил остальных навечно в Сибирь, *во глубину сибирских руд*. Не имело значения, что ода была написана до восшествия Николая на трон. Также подразумевалось, что в 1918 году совершилось то, о чём мечтал Пушкин: всю семью последнего Романова расстреляли, вместе с детьми, и правильно сделали...

Сегодня эти пушкинские слова воспринимаются обществом по-иному, без одобрения; в советское время они не смущали пушкинистов, теперь смущают, и нужно искать новые *интерпретации*, Пушкина оправдывающие. Вспомнили, лучше сказать, выдвинули на первый план давнее предположение: Пушкин имел в виду Наполеона, ненавидя французского императора и желая смерти его детям. Толкование необоснованное, пустое, ибо в 1817 году, когда написана ода, Бонапарт, побеждённый и взятый в плен (в 1815 году), уже отбывал ссылку на острове Святой Елены, его *погибель*

уже состоялась. Вообще, называть его *самовластным злодеем* было бы сильным преувеличением, и потом, Пушкин не стал бы нападать на Наполеона с такой яркой ненавистью. В каких-то советских изданиях Наполеон упоминался в примечаниях к оде «Вольность», но это предположение, скажем так, не навязывалось, теперь его, похоже, сделали единственно верным. Однако не каждый сегодняшний читатель заглядывает в примечания, не каждый вчитывается в них, и в наше время автор «Вольности» видится жестокосердным человеком, который необоснованно называет русского монарха (неважно, какого именно, Александра I или Николая I) злодеем, желая смерти ему и его детям: сами смотрите, читайте, здесь у Пушкина так и написано, и, как говорится, из песни слов не выбросишь!

Мы возвращаемся к тому, что автору следует предвидеть, как его слово может отозваться. Если ты желаешь смерти какому-нибудь человеку, по своему разумению или в запале объявив его злодеем, может случиться, что и тебя назовут злодеем... А то, что из песни слов не выбросишь, — вопрос спорный. Все народные речения принято называть *мудрыми*, но не все таковыми являются. Не требуется ходить далеко за примером, дабы доказать: нет ничего нерушимого под солнцем, не только отдельные слова исключаются, целые куплеты вычёркиваются при необходимости, вспомним гимн Союза Советских Социалистических Республик, из которого в 1956 году *выбросили* следующие слова, до этого считавшиеся *бессмертными*:

Нас вырастил Сталин — на верность народу,
На труд и на подвиги нас вдохновил!

На моей памяти гимну была дана полная отставка, в течение десяти лет мы делали вид, что нам нравятся слова и музыка «Патриотической песни», а в 2000 году правительство решило вернуться к государственному гимну СССР, но из песни, простите, из текста, опять выпустили некоторые слова. Написанное пером, как говорят, не вырубешь топором, но написанное можно подчистить — сразу, почти сразу или через хоть сколько лет после написания, как бывало и с завещаниями, и с историческими документами, а уж когда в стране меняется государственный строй, как случилось в России дважды в 1917 году, не то что отдельные слова из отдельных песен были удалены, с тех пор история нашего государства Российского несколько раз почти полностью переписывалась с выбрасыванием и включением в неё отдельных лиц и целых событий...

Я обратил внимание, что один из современных исполнителей в своей надрывно-душевной песне с уклоном в кабацко-блатную лихость, столь любимую русским народом, в песне, написанной на стихи Сергея Есенина, с большой, надо признать, душевной отдачей поёт:

Стыдно мне, что я в Бога не верил,
Горько мне, что не верю теперь...

На самом деле в 1923 году, когда явились стихи, Есенин чувствовал неловкость, вполне понятную, за свою прежнюю веру в бога: «Стыдно мне, что я в бога верил...» Не будем вдаваться в причины, выяснять, чем руководствовался исполнитель, поменяв утверждение *верил* на отрицание *не верил*; заметим только, что эта *переделка* не привлекла внимание властей, как это случилось бы в советские годы, она не покорила особо литературоведов, она не возмутила общественность. Всему своё время, время насаждать и время вырывать посаженное; время разрушать и время строить; было коммунистическое время, когда умным и недовольным было лучше помалкивать, наступило либеральное время говорить, говорить и говорить, в том числе о духовности: мы её потеряли, нужно её

обрести, и как же нам это сделать, и, не имея иных идеалов, вернулись к почитанию древнеиудейского бога Иеговы, и пусть будет стыдно всем, кто в Него не верит! Коммунизм был объединяющей идеей; в осмысление идеи вникать не требовалось, и не столь важно, читал ты или не читал труды Карла Маркса и В. И. Ленина, нужно было быть членом коммунистической партии или членом коммунистического союза молодёжи: нужно быть *нашим* советским человеком, и кто не с нами, того будем подозревать в том, что он против нас. В качестве объединяющей идеи нам *сверху* возвращают православие (в России все *путеводные* идеи — заимствованные, и христианство, и коммунизм, и просветительство: Н. И. Новиков, например, с соратниками, обставившись иностранными масонскими обрядами, считал, что Россию можно улучшить, завалив её переводными книжками западноевропейских мыслителей, литераторов, философов и мистиков)... Сегодня мерилом духовности, благонадёжности и верноподданничества стала принадлежность к православию; отсюда и утверждения, что Гоголь церковный писатель, отсюда и замена *верил* на *не верил* в стихотворении Есенина; вот и Пушкина вслед за Гоголем стараются изо всех сил *воцерковить*: мол, «Гавриилиаду» он и не писал, авторство спорное, не доказано, сам Пушкин от этого произведения откестился, *мнение о Пушкине как о безбожнике неверное* (привожу чью-то литературоведческую *интерпретацию*, не удосуживаясь выяснять, кто это пишет, ибо пишет не один, и не двое), и вот даже такое смехотворное утверждение я услышал о Пушкине (написавшем, помимо «Гавриилиады», известную «Сказку о попе и о работнике его Балде»): *А. С. Пушкин является основоположником православной традиции в русской литературе.*

Если мои рассуждения кажутся бездоказательными, поскольку не имеется правильно оформленных цитат и ссылок на каждое кем-то произнесённое слово, приведу, так и быть, пример с привлечением академических источников, нам сообщающих: 3 апреля 1821 года Пушкин, находившийся в Кишинёве, делает следующую запись в дневнике: «Третьего дни хоронили мы здешнего митрополита; во всей церемонии более всего понравились мне жидаы: они наполняли тесные улицы, взбирались на кровли и составляли там живописные группы. Равнодушие изображалось на их лицах — со всем тем ни одной улыбки, ни одного нескромного движенья! Они боятся христиан и потому во сто крат благочестивее их».

Так написано, так, я считаю, и следует понимать: Пушкин, 30 марта 1821 года присутствовавший (не по своей воле, но по требованию начальства) на похоронах митрополита Гавриила (Банулеску), назвал евреев более благочестивыми, чем христиане. Читатели могут принимать во внимание или не придавать никакого значения тому, что поэту было 22 года; вообще, читатели имеют право оставаться в неведении, в каком возрасте автор сочинил то или иное произведение. В более зрелом возрасте Пушкин, возможно, выбрал бы иные слова и не такой саркастический тон, ну, а так мы судим по тому, что было им написано в том же апреле 1821 года в стихах — в послании «В. Л. Давыдову»:

На этих днях, среди собора,
Митрополит, седой обжора,
Перед обедом невзначай
Велел жить долго всей России
И с сыном птички и Марии
Пошёл христосоваться в рай...

Сын птички и Марии — понятно, что Иисус Христос; митрополит Гавриил *пошёл христосоваться с ним в рай* потому, что смерть настигла его в преддверии Пасхи. Стихи забавные и... богохульные, иначе не назовёшь. Но есть категория людей, которым, как

говорили в народе, *мочись в глаза — всё божья роса*, они, даже выслушав стишок, будут и дальше излагать свою *интерпретацию*, что мнение о Пушкине как о безбожнике неверное, и он, именно Пушкин, заложил *основы православной традиции* в нашей литературе. Они останутся при своём мнении, даже если зачитать им другое стихотворение, написанное Пушкиным в том же апреле в пасхальный праздник: поэт *христосует* с девушкой по имени Ревекка — как предполагают литературоведы, дочерью какого-то трактирщика в Кишинёве, но обычному читателю нет нужды до того, кто являлся *прототипом*, он понимает, что Пушкин заигрывает с еврейкой, готов ради её поцелуев перейти в иудаизм и вручить ей ту часть тела, тот, так сказать, орган, который... как бы выразиться пристойнее... В общем-то, стихотворение не нуждается в пояснениях.

Христос воскрес, моя Ревекка!
Сегодня следуя душой
Закону бога-человека,
С тобой целуюсь, ангел мой.
А завтра к вере Моисея
За поцелуй я не робея
Готов, еврейка, приступить —
И даже то тебе вручить,
Чем можно верного еврея
От православных отличить.

Если судить непредвзято и спокойно, не впадая ни в очернение, ни в безоглядное восхваление, знакомство с произведениями Пушкина (включая дневниковые записи разных лет) не даёт оснований считать его верующим, тем более что он сам признавался в своём *афеизме*; его «Гавриилиаду» ещё можно считать юношеской выходкой, но «Сказку о попе и о работнике его Балде» он сочинил в зрелом возрасте, и незадолго до смерти, в 1836 году (19 октября), он пишет Чаадаеву, что *религия чужда нашим мыслям и нашим привычкам*: «La religion est étrangère à nos pensées, à nos habitudes»... Ежели мнение о поэте составлять, например, по следующей статье, напечатанной в газете «Независимая Молдова» в июне 2005 года, тогда, конечно, вы узрите в Пушкине *истинного христианина*: «Пушкин лично знал митрополита Гавриила. Ходил в его храм, на исповедь, к причастию, на молебен. Последний раз он был на исповеди и причастии 28 марта. И как истинный христианин, Пушкин отдал ему последнюю дань — проводил в последний путь. Не формально проводил, а со всем уважением — побывав даже на поминках и пожелав ему царствия небесного. И душа Гавриила ответила ему тут же добром: в одночасье, в ходе похорон митрополита, Пушкин стал известен всему Кишинёву. Этот город для него стал навсегда родным...»

13

Собираясь выяснить, *в общих чертах*, суть и цели текстологии, мы, обратившись к статье в Большой советской энциклопедии, увязли в *критической проверке* одного начального предложения; я отвлёкся на побочные рассуждения, растёкся мыслями по древу... Не *мыслями*, поправят меня, а *мыслью*, ибо фразеологический оборот — устойчивое сочетание слов, его нельзя исказить, заменять одни слова (и словоформы) другими, ибо: «фразеологизмы возникли в результате длительного народного творчества и за много веков их использования, как огранённые отшлифованные кристаллы, приобрели свой чётко обозначенный состав».

Подобные красивые заявления, честно говоря, не приводят меня в священный трепет; я читал в очень старых собраниях пословиц и поговорок: «Слово как воробей —

вылетит, не поймашь» и «Лес рубят, в нас щепки летят» — что по смыслу отличается от тех вариантов, *отшлифованных кристаллов с чётко обозначенным составом*, которые на слуху сегодня. Для меня не имеет существенного значения: хоть *мысль*, хоть *мысли*, поскольку фразеологизм основан на неверном прочтении текста, он получил ошибочное толкование. В «Слове о полку Игореве» вещей Боян, как мы помним, если хотел сложить песню, «растекался мысию по дереву, серым волком по земле, сизым орлом под облаками». Песнопевец, нам понятно, сравнивается с волком, с орлом, третьим должно быть тоже живое существо; *мысль* не может быть чем-то иным. Глагол *течь* значил *бежать*. Это значение мы встречаем и сегодня в просторечии: А где такой-то человек? Да утёк! *Утёк* значит *убежал*. Приведу несколько примеров из «Словаря» В. И. Даля: «Утекай, ожгу! <...> Утёк — не хвались, а Богу молись. <...> Турки на-утёк пошли». Удачным примером из старых писаний будет, на мой взгляд, следующее предложение, взятое из сборника «Ложные и отречённые книги русской старины» (книги были собраны Александром Пыпиным и изданы в 1862 году в Петербурге): «И Соломон встал из-за стола, пустил из рукава мышь, и мышь по столу потекла и огонь погасила и свещу и потеху цереву». Смотрим только на мышь, на её действия, не вникая в смысл всей фразы (смысла, может быть, в целом, не имеющей): мышь *побежала* по столу. Точно так в «Слове о полку Игореве» говорится, что Боян быстрым зверком бегал по дереву; когда мне говорят, что здесь идёт речь о белке, я верю: если не мышь, пусть будет белка, но *растекаться мыслью по древу* — нелепость хоть в прямом, хоть в переносном смысле. Неверная *интерпретация* явилась давно, её по какой-то причине поддерживали очень уважаемые и почитаемые светила филологии, поэтому не буду развивать эту тему, избегая личных выпадов, повторю только, что я с недоверием отношусь к утверждению, будто истолкование текстов приводит к их пониманию.

Отвлекаясь на побочные рассуждения, *растекаясь мыслью по древу*, как неверно выражаются любители украсить свою речь *мудрыми* речениями, я несколько отвлёкся от первоначального замысла... Пожалуй, следует ознакомиться чуть подробнее с объяснением текстологии в Большой советской энциклопедии. Для этого не потребуется напрягать мышцы, снимая заново с библиотечной полки увесистый том: оказалось, что объяснение, напечатанное в энциклопедии, имеет широкое хождение, его, похоже, признали каноническим, повторяя прилежно во множестве исследований и в учебных пособиях. В одном пособии статья подвёрстывалась к теме, озаглавленной «Задачи текстологии как части литературоведения», тогда как в энциклопедии обсуждаемая дисциплина названа *отраслью филологии*; впрочем, если продолжить чтение, ниже сказано и о принадлежности текстологии к литературоведению, и, по большому счёту, нам не сто́ит вступать в долгое (и бесплодное) обсуждение *дефиниций*, рискуя завязнуть в *дифференциации* литературоведения и лингвистики.

«Как часть литературоведения, текстология состоит в обоюдной и взаимопроникающей связи с другими его сторонами — историей и теорией литературы, и составляет источниковедческую базу этих наук. С другой стороны, текстология использует весь арсенал литературоведения и всех общественных наук. В качестве вспомогательных дисциплин привлекаются библиография, источниковедение, палеография, герменевтика, историческая поэтика, стилистика. В текстологии могут быть применены комплексные кибернетические, семиотические, вероятностно-статистические методы».

Похоже, я зря придираюсь к автору статьи, намекая, что своим *нанизыванием родительных падежей* он уходит от чёткой *дефиниции*. Прочитав целый абзац, мы не встретили нагромождений из существительных в косвенных падежах, всё ясно объясняется: текстология имеет связь и проникает в другие стороны литературоведения... Нет, не так, они взаимно друг в друга проникают: текстология в историю, также в теорию

литературы; и те в неё взаимно; важно, что текстология — основа, источниковедческая база для указанных наук, но и она пользуется всем арсеналом — не этих двух, а всех общественных наук... Не всё так просто, как можно подумать, удовольствовавшись одной фразой, выхваченной из статьи: мол, клади перед собой рукопись и занимайся *критической проверкой, организацией текста для его дальнейшей интерпретации*. Становится ясно, что на текстолога не выучишься на каких-либо годичных курсах, требуется усидчивое освоение как основной, так и вспомогательных взаимопроникающих дисциплин, только что перечисленных, протирая штаны и юбки на университетских скамейках, простите, скамьях, не менее пяти лет. Я посмотрел, в каком году вышел том Большой энциклопедии; если в те годы уже применялись *кибернетические* методы, когда кибернетика была пусть не в зачаточном, но ещё в младенческом или подростковом возрасте, то сегодня, очевидно, студенту, мечтающему стать текстологом, требуется изучить в качестве вспомогательной дисциплины и кибернетику в её современном состоянии, иначе не удастся подключать к своим интерпретациям *кибернетический метод*.

Почему я иронизирую? Потому что при всём развитии науки и техники, при всём обилии методов, хоть кибернетических, хоть семиотических и вероятностно-статистических, мы видим в издаваемых *памятниках письменности* опечатки, грамматические ошибки, отсутствие пояснений или пояснения с неверной *интерпретацией* того, что написал или имел в виду автор. Что хуже: в наше время преподносится в виде исторического факта то, что первоначально было слухом или сплетней. Очередной автор *исследует* сотни раз перелопаченный и пережёванный вымысел о том, что Александр I не умер в Таганроге, а удалился в Сибирь, основывая свои рассуждения на *новом прочтении* известных документов, ранее, по его утверждению, неверно интерпретированных; можно услышать, что *идентичность Александра I и старца Фёдора Томского* больше и не требует доказательств, это *аксиома*. Открывая новый выпуск какого-либо научно-популярного издания или даже чисто научного журнала, мы встречаем совершенно беспочвенные, но *научные* доводы к тому, что шекспировские произведения писал не Уильям Шекспир. Одни люди с учёными степенями доказывают, что живём мы по неправильному летоисчислению, ибо множество столетий куда-то потерялось по злему умыслу неких лукавых историков, тогда как другие, исследуя деятельность *российских спецслужб* во все времена и при всех правлениях, суживают свою задачу до *обнаружения тайн и ужасных секретов России* (пользуюсь словами Ф. М. Достоевского), и, среди прочего, скармливают читателям байки о жестокости С. И. Шешковского (1727–1794), который за годы службы в Тайной экспедиции собственноручно *высек кнутом не менее двух тысяч человек* — при этом сообщается, что это *свидетельство современников* (ни один из которых не назван по имени). В основе *открытий и разоблачений* по поводу Шешковского — недостоверные анекдоты про него, печатавшиеся в 1870-х годах для развлечения публики в «Русской старине». Как-то, открыв в книжном магазине красиво оформленный, изданный для *широкого читателя* сборник с объяснением имён, я узнал с удивлением, что имя *Джульетта* значит *пушистая*. В жизни встречаешь множество глупых людей и множество глупостей, к ним даже привыкаешь, но вдруг тебя неприятно изумляет: время наше считается просвещённым, но издатели подписывают в печать изрядное количество *произведений письменности*, которые в частностях и в целом являются галиматьёй. Оттиснутая на белой бумаге типографским способом, сброшюрованная, иногда продаваемая в очень представительном переплёте, галиматья получает статус печатного издания, на который кто-то будет ссылаться... Я не сумею сказать лучше, чем сказал однажды Пушкин: «Самое неосновательное суждение, глупое ругательство получает вес от волшебного влияния типографии. Нам всё еще печатный лист кажется святым. Мы всё думаем: как может это быть глупо или несправедливо? ведь это напечатано!»

Во времена Пушкина никто не рассуждал о применении кибернетическо-

семиотических методов для *организации текстов*; означенные методы в наши дни — тема для схоластических рассуждений, практического применения они не имеют; если кто и пытается использовать их (нужно ещё разбираться, в какой форме, как именно) для *интерпретации* какого-либо непонятного, малопонятного текста, утверждая при этом, что удалось сделать однозначные выводы, мы сразу возразим, и мы уже привели некоторые примеры, что другие исследователи, исходя из своей предубеждённости, интерпретируя те же памятники письменности, с такой же уверенностью докажут нам что-либо иное или противоположное. Выше я высказался о словах *урим* и *туммим*: это предметы, но непонятно их значение и назначение; однако есть мнение богословов и филологов, что означенные слова следует понимать как *свет* и *истина*, и в качестве одного из веских доказательств нам предлагают взглянуть на герб Йельского университета: основанный, понятное дело, не дураками, сей всемирно известный центр науки и образования наделяет знаниями, тоже всем понятно, не лишь бы кого лишь бы как, и на его гербе изображена развёрнутая книга (вероятно, Библия), на развороте начертаны на иврите *урим* и *туммим* (не буду пытаться воспроизвести надпись подлинными еврейскими знаками), под гербом приводится латинский перевод этих знаков: *Lux et Veritas*. Такая текстологическая или, наверно, уже герменевтическая интерпретация звучит куда привлекательнее, нежели приземлённое объяснение, что это какие-то одёжные детали.

14

Филологические пособия и статьи в новое время, похоже, пишут только люди со страстной любовью к иностранным словам; это удивляет и настораживает, когда вы встречаете многочисленные *дефиниции*, *номинации*, *контаминации*, *семь*, *лексемы*, *морфы* и *коннотации* в материалах о русском языке и русской литературе, особенно о русском народном творчестве; навскидку выхватим из разных научных сусеков и коробов чуть ли не первые попавшиеся изречения: *описание концептосферы русской народной сказки через лексикографическое описание концептов*; *в текстах русских сказок определяется национально-культурная специфика языковых средств актуализации как положительных, так и отрицательных качеств женщины в ее различных ипостасях, анализируются средства выражения национально-культурных коннотаций...* Михаил Ломоносов, как о нём пишут хвалебно, был замечательным филологом, он создал *первую научную грамматику русского языка*; но сегодня у него не приняли бы к публикации ни одной статьи. Может быть, наш язык сильно изменился с тех пор, как М. В. Ломоносов в 1755 году описал его в «Российской грамматике»? Судя по темам научных статей, если судить всего лишь по названиям сегодняшних лингвистических исследований, язык невероятно усложнился, в нём открылись ранее неизвестные глубины, обнаружались тонкости, разглядеть которые удалось только в наши дни с помощью современной оптико-электронной техники. Возражу: язык не вещество, исследуя которое, мы докопались до атомов и электронов; какие-то слова русского языка вышли из употребления, какие-то вошли в употребление; изменился в какой-то степени синтаксис, изменилась орфография (кстати, в сторону упрощения); о фонетических изменениях судить невозможно, ибо у нас нет магнитофонных записей тогдашней речи. В целом язык менялся, как всё в живой природе постепенно преобразуется; реформа орфографии в 1918 году видится некоторым *разгорячившимся патриотам*, как называл их Гоголь, резким революционным скачком, трактуется ими как грубое волевое (и неоправданное) вмешательство коммунистов; но, если не впадать в квасной патриотизм, признаем, что реформа орфографии назрела *эволюционно*, о необходимости изменений говорил тот же Ломоносов в XVIII веке.

Сегодняшние филологи, не имея сказать ничего нового, толкут воду в ступе. Чтобы со стороны их не обвиняли в водотолчении и пустопорожних занятиях, введена

терминология, которая представляет собой заимствование без перевода английских слов: со стороны слышно, как лингвисты общаются *научным* языком, который простому смертному не доступен. *Взяты на вооружение* какие-то термины, а то и обычные слова. Например, английское *concept* (ставшее *концептом*) — это *понятие*, *definition* (ставшее *дефиницией*) значит *определение*... Однажды при издании сборника со всяческими произведениями русского народного творчества я, будучи редактором, предложил составителю и одновременно автору примечаний заменить словосочетание *концепт любовь* (в русских частушках) на *понятие любви* (в русских частушках); составитель сморщился: его рассуждения и комментарии *потеряют научность*. В другой книжке рассказывалось о русских яствах, питиях, фруктах, ягодах... Меня умилило следующее уточнение, касающееся клюквы: *клюква в номинации ягода*. Автор, как я понял, опасался, как бы кто не понял его *клюкву* в ином значении; а *иное значение*, кстати, не совсем понятно обозначено; например, в словаре Д. Н. Ушакова мы читаем следующее (усомнившись в достоверности байки про автора-француза): «*Вот так клюква! (прост., фам.) — восклицание при неприятных неожиданностях, то же, что: вот тебе и раз! Развесистая клюква — шуточное обозначение небылиц, неправдоподобий, обнаруживающих полное незнакомство с предметом (пошло от описания России, в котором поверхностный автор-француз пишет, что сидел под тенью величественной клюквы — sur l'ombre d'un kliukva majestieux)*».

Я предложил написать: *клюква в значении ягода*. Автор сказал, при этом с некоторой усмешкой: *значение и номинация* не одно и то же. Любопытно, что в обоих случаях филологи *русисты* не соглашались со мной, филологом *германистом*, тогда как, по примеру Ломоносова и Даля, всех известных языковедов и вообще любителей русской словесности прошлого, они должны были *стоять горой* за чистоту русского языка и всячески противиться и возражать против засорения русского языка *иностранщиной*.

15

В 2009 году я взялся подготовить к печати «Историю кабаков в России», исследование Ивана Прыжова, и мне подумалось, что за основу можно взять текст, опубликованный в наши дни: я буду избавлен от *нетворческой* возни с материалом в том виде, в каком он был напечатан впервые в 1868 году. Имея электронное оборудование и полезные программы для распознавания текстов и для проверки правописания, мы всё равно получаем множество искажений при переводе изображений со старой орфографией в тексты с новым правописанием, приходится исправлять возникшие опечатки и удалять вручную множество затейливых знаков, возникших, например, из-за того, что компьютер принял за буквы всяческие посторонние пятнышки между строк и чёрточки на полях книги... Некоторые сомнения в правильности выбранных действий возникли у меня, когда в тексте, уже, можно сказать, редактируемом, я наткнулся на *каузотворцев*: «...в исчислении запрещённых занятий, за которые отлучают от церкви, рядом с чародеями и каузотворцами упоминается и *корчемник* (корчмить)». Слово *каузотворец* не вызвало во мне отторжения: наверно, оно что-то значит, в старинных текстах встречается много интересного словесного материала, вышедшего ныне из употребления, там же в «Истории кабаков» мы находим слова *тамга́, мыто, копа́, лукна́, ла́зиво* (оно же *лезиво*), *фартина*... Во всех доступных справочниках *каузотворца* не обнаружилось. Мне пришлось обратиться в Российскую национальную библиотеку, заказать «Историю кабаков», изданную в 1868 году, сравнить свой текст с подлинником. В старом наборе было: *наузотворцы*. Тут же обнаружилось, что слово в скобках *корчмить* следует печатать *корчъмитъ*. Я быстро заметил, что в *новодельном* издании отсутствует латинская фраза *duas tabernas, similiter duas mensas panum*; собственно, нет всего параграфа, в который она

была вставлена Прыжовым; и несколько других параграфов тоже выброшены, вкуче со строками из малороссийских песен, к теме, исследуемой Прыжовым, очень подходящих:

Моя дочка ледащица, не ночуе дома,
Моя дочка ледащица, не хоче робити,
Да як прїйде недїленька, иде в корчму пити.

Вспомнив высказывание суеверных людей, что судьбу не обманешь, и от судьбы не уйдёшь, я начал работу заново; пришлось брать *полный* текст с его старой орфографией, удалять *яти* и *еры*, долго вычитывать, избавляясь от многочисленных искажений и тут же объяснять (в примечаниях) такие слова как *наузотворец*, *недельщик*, *скра*, отыскивать сведения о людях, в произведении Прыжова упомянутых: кто такие Корб, Крижанич, Маржерет, Еггегард, Контарини... Потом я обнаружил, что сам автор, Прыжов, во многих случаях неточно воспроизвёл (то ли из-за спешки, то ли в силу безалаберной своей натуры) документы, к которым он обращался, иногда обнаруживался пропуск ключевых слов, восстановить которые было необходимо, иначе цитаты выглядели бессмысленной и бесполезной вставкой. Мне долго пришлось работать с текстом, в некоторых случаях с трудом обнаруживая, откуда Прыжов позаимствовал ту или иную фразу, ибо она показалась мне *подозрительной* даже по написанию. Но мне не кажется, что я занимался *интерпретацией* прыжовского текста или его *установлением и организацией*. Мои усилия, соглашусь, не являлись текстологией. Вот если бы я прибегал к тонко разработанному критическому или изоцрённому методу, к коньектурам и дивинациям... К дивинациям?

16

Увлёкшись чтением статьи в Большой советской энциклопедии, я узнал, что различают текстологию античной литературы, текстологию средневековую, текстологию новой литературы... Следующие строки, в которых фигурируют, среди прочего, дивинации и коньектуры, показались мне особенно замечательными: «Установление античности текстов почти всегда сводится к реконструкции с применением тонко разработанного критического метода, гипотез, дивинаций (дописывание, досочинение) и коньектур, установленный текст остаётся гипотетичным. В меньшей степени это относится к средневековым текстам, но и текстология некоторых произведений эпохи книгопечатания (например, У. Шекспира) требует изоцрённых методов исследования».

Прочитав, мы понимаем, что идёт речь о *высшем пилотаже* в области языкознания и литературоведения, об уровне знаний, дотянуться до которого не все способны, ибо даже для выдвижения гипотез необходима природная острота ума, за отсутствием которой в большинстве своём филологи занимаются чем-нибудь незамысловатым, например, выделением корней, приставок и суффиксов в словах; хотя бывают и любопытные исследования, например, касательно того, почему *мертвец*, *утопленник*, *покойник* в русском языке считаются одушевлёнными существительными, тогда как *труп* — существительное неодушевлённое. *Дивинация* производит особенно сильное впечатление, но и *коньектуры* тоже, надо сказать, способствуют тому, что специалисты в других областях знаний задумаются: текстология по сложности не уступает или даже сложнее ядерной физики!

Divination в английском языке значит буквально *гадание*. Гадать можно на картах, на кофейной гуще, когда-то жрецы гадали по полёту птиц или по птичьим потрохам; успех гадателя или гадалки строится на умении высказываться уверенно, но туманно, необходимым свойством характера является отсутствие стыда... Текстологи, обнаружив в рукописи вырванный листок, гадают: что на нём могло быть написано? Прибегнув

к дивинациям и дописыванию, можно полностью заполнить своими *досочинениями* две утраченные страницы, при этом сильно ошибаясь: на отсутствующем листке, возможно, когда-то находились с одной стороны пара предложений предыдущей главы, на другой стороне — всего лишь заголовок крупными буквами с заставкой и пара начальных строк следующей главы.

Бывает, что запомнив какое-то слово, русское или иностранное, мы запоминаем и место (книгу, иногда даже страницу книги), где мы его когда-то встретили, где оно чем-то нас привлекло или даже поразило. Английское *divination* отложилось в моей памяти по предписаниям, изложенным в Ветхом завете, во Второзаконии; привожу его по канонической англиканской Библии: «There shall not be found among you *any one* that maketh his son or his daughter to pass through the fire, or that useth divination, or an observer of times, or an enchanter, or a witch, Or a charmer, or a consulter with familiar spirits, or a wizard, or a necromancer» (Deut 18:10-11).

Когда-то я слышал утверждения, что *божественное слово* дошло до последующих поколений и до наших дней в том виде, в каком оно было изречено, в каком виде его услышал и записал тот или иной пророк, начиная с Моисея; среди прочих историй, подтверждающих божественный промысел, повествовалось, как *семьдесят толковников* взялись за перевод Ветхого завета с еврейского на древнегреческий — не по воле какого-либо человека, но по Божьему почину; каждый толмач работал отдельно от других, при сравнении законченных переводов оказалось, что они полностью совпадают, и сие чудо объяснялось, естественно, Божественным вдохновением. Сравнивая английский текст с русским Синодальным переводом, я проверял по англо-русским словарям ключевые слова, даже хорошо мне знакомые, задумываясь о том, например, чем гадатель отличается от прорицателя, по каким признакам чародея в давние времена не путали с волшебником?

«Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою чрез огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых».

В английском тексте *divination* (гадание) входит в словосочетание: *any one* that useth *divination* (любой, кто применяет/использует гадания), тогда как по-русски хватило одного слова *прорицатель*. Почему английские переводчики не выразились так же коротко, имея существительное *diviner*, соответствующее русскому *прорицатель*, почему не использовать его, тем более что мы встречаем означенное слово в других местах той же канонической англиканской Библии, например, во Второзаконии (откуда и первая фраза): «For these nations, which thou shalt possess, hearkened unto observers of times, and unto *diviners*» (Deut 18:14). Можно догадываться о разночтениях, незначительных (и значительных) в тех источниках (еврейских, греческих, латинских), использованных в Англии и в России при переводе на соответствующие национальные языки.

Всегда полезно привлекать к обсуждению третий вариант текста, поэтому выслушаем то же самое предостережение против прорицателей и гадалей, как оно звучит в Новой международной Библии (New International Version), увидевшей свет в 1978 году, — при этом мы невольно впадаем в заблуждение, будто по мере накопления богословских и филологических исследований, благодаря развитию библеистики, с применением новейших технических методов, мы приближаемся и приближаемся к точному пониманию и безошибочной интерпретации античных текстов. Зачитываю обсуждаемую фразу из перевода, сделанного, как уверяют издатели Новой международной Библии, коллективом из более чем ста учёных, обратившихся, что укрепляет наши надежды и ожидания, к первоисточникам, еврейским, арамейским и греческим: «The New International Version (NIV) is a completely original translation of the Bible developed by more than one hundred scholars working from the best available Hebrew, Aramaic, and Greek texts». Итак, соответствие тому, что по-русски начиналось со слов: «Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою чрез огонь...»

«Let no one be found among you who sacrifices their son or daughter in the fire, who practices divination or sorcery, interprets omens, engages in witchcraft, or casts spells, or who is a medium or spiritist or who consults the dead».

Мы видим, что, перечисляя всякого рода *гадателей*, переводчики наших дней используют не всегда те слова, которые подобрали толковники при короле Якове; существеннее вот что: вместо неясного *проводить через огонь* (to pass through the fire) в современном варианте говорится однозначно о принесении в жертву детей: не должно быть среди вас того, кто приносит своего сына или дочь в жертву через сожжение. Иная интерпретация, согласимся, проясняет смысл! Мы готовы верить, ибо нас очаровало количество учёных мужей, привлечённых к работе над новым изданием, при этом мужей, знающих древние языки. Лично у меня остались сомнения: во-первых, в прошлые времена подобными переводами занимались тоже опытные толмачи; не берусь судить, у кого и когда дело обстояло лучше со знанием иврита или арамейского языка, но в период, включающий жизнь короля Якова (1566–1625), английские учёные мужи не просто учили латынь в школе или университете, они писали свои трактаты, не только филологические и богословские, на латинском языке: «British scholars wrote in Latin until the late 17th century», так что не следует превозносить бездумно что-либо только потому, что оно провозглашено новым словом, в данном случае, в библеистике; во-вторых, в стихах 9-14 в восемнадцатой главе Второзакония, где излагаются *запреты на идолослужение*, в прежних переводах ни разу не произносилось слово *жертва*; сравним с церковнославянской Библией: «...да не обрящется в тебе очищая сына своего и дочь свою огнем, волхвывая волхвованием, и чаруяй, и птицеволшебствуяй, чародей обавая обаванием, утробоволхвываяй, и знаменосмотритель, и вопрошаяй мертвых» — здесь упоминается, как я понимаю, гадание по полёту птиц и по их потрохам, и это, мне кажется, более точное описание древних волхваний, нежели просто прорицание, гадание, ворожба, чародейство, вызывание духов и волшебство, которые перечисляются в более новых версиях библейского текста. На мой взгляд, очищение огнём могло состоять не в том, что людей, дабы избавить их от *скверны*, закалывали и сжигали, их, предположим, заставляли прыгать через костёр, а новорождённых (сына своего и дочь свою) окуривали дымом около ритуального костра.

В целом мы видим, что русский текст в Синодальном переводе короче соответствующего места в канонической англиканской Библии, где вместо однословных определений мы находим описания: тот, кто использует гадания; тот, кто вызывает духов... Возникают вопросы и по поводу переводческих методов, используемых теми или иными переводчиками в разные эпохи (при короле Якове, похоже, намеренно избегали лаконичности, считая нужным выстраивать более *развёрнутые* фразы, придавая им значимость и весомость); есть причины задуматься и над смыслом, как мы задумались над ритуалом с проведением детей *через огонь*. В любом случае, нет никаких оснований утверждать, что Библия, как и любой другой древний письменный памятник, дошла до наших дней в том виде, в каком книги, её составляющие, были первоначально написаны. Мы не говорим о знаках, о разных буквах разных алфавитов; согласимся, что со временем утрачивается точный смысл отдельных слов и фраз, некоторые поступки, совершаемые когда-то с определённой целью, видятся теперь полной бессмыслицей, и никакие *дивинации* никогда не помогут установить, какими предметами были *урим и туммим* и о чём именно писал древний автор, осуждая тех, кто проводит своих детей через огонь.

Как-то мне попало на глаза следующее утверждение: «В России эмпирическая эдичионно-текстологическая работа возникла в середине XVIII века». Может быть, и так;

признаюсь в очередной раз, что высказывания, облачённые в подобную грамматическую форму, вызывают у меня подозрение: почему бы не выразиться *по-русски*, и если сказали не по-русски, как будто нарочно затемняя смысл, может быть, в середине указанного века никто *эмпирической эдиционно-текстологической работой* и не занимался.

Когда заходит речь о текстологии, мне первым делом вспоминаются следующие строки, написанные А. С. Пушкиным в 1825 году:

Заступники кнута и плети,
О знаменитые князья,
За них жена моя и дети
Вам благодарны, как и я.
За вас молить я бога буду
И никогда не позабуду,
Когда по делу позовут
Меня на новую расправу,
За ваше здравие и славу
Я дам царю мой первый кнут.

В таком виде мы находим сегодня это стихотворение в отдельных изданиях, в подборках пушкинской поэзии — в *избранной* лирике поэта, тогда как, если ознакомиться с автографом, сохранившимся, кстати, до наших дней, мы вправе изумиться: пушкинская рукопись является черновым наброском, в наброске часть слов невозможно понять, ибо они написаны неразборчивым почерком, какие-то слова были зачёркнуты Пушкиным, то есть отвергнуты как ненужные, есть и недописанные фразы, посему возникает закономерный вопрос: каким образом словесные намётки превратились в произведение литературы, законченное по форме?

Конечно, вчитавшись, особенно когда прозвучала подсказка со стороны, мы начнём задавать вопросы, которые при первом прочтении не пришли нам в голову, потому что, знакомясь с поэтическими произведениями, мы подпадаем под обаяние ритма и рифмы, звучание воздействует на сознание, если не забывая смысл, то отодвигая его на задний план. Ежели вчитаться и вдуматься, не оберёшься вопросов! Кто такие знаменитые князья, выступающие заступниками телесных наказаний? Какое отношение они имеют к Пушкину? В 1825 году у Пушкина не было ни жены, ни детей. По какой причине жена с детьми (которых у Пушкина нет) благодарны князьям за их кнут и плети? Пушкин и сам благодарит их — за что именно? Судя по всему, за то, что они заступаются за кнут и плети. Поэта кто-то позовёт на новую расправу, значит, была или были предыдущие? Здесь знающие люди вспомнят: в 1819 году кто-то, может быть, Фёдор Толстой, прозванный Американцем, пустил слух, будто Пушкина высекли в полиции; не об этом ли вспоминает поэт? Хотя расправа ожидается над ним, первый кнут получит царь! Очень смело писал Александр Сергеевич в 1825 году, не боялся, что власти возьмутся за него всерьёз. До этого он выходил сухим из воды, несмотря на все свои вольнолюбивые стихи, несмотря на богохульную «Гавриилиаду» и злые эпиграммы на первых лиц империи; в июне 1817 года, после окончания Лицея, его распределили, как сейчас говорят, не лишь бы куда, а в Коллегию иностранных дел (с окладом в семьсот рублей в год); его, имеющего чин коллежского секретаря, направили от Коллегии на работу в Кишинёв в 1820 году, с последующим переводом в Одессу, что только с огромной натяжкой можно называть ссылкой.

Когда я ходил в школу в 1960-х годах, из пушкинских стихов подлежала обязательному изучению ода «Вольность», нас заставляли затверживать её наизусть, и мы по очереди читали оду в классе на оценку, даже с *выражением*, по настойчивому требованию преподавателя:

Самовластительный злодей,
Тебя, твой трон я ненавижу,
Твою погибель, смерть детей
С жестокой радостию вижу.

К рассуждениям о «Вольности» учительница подключала и строки про *заступников кнута и плети*; ни она, ни тем более мы, ученики, не понимали до конца и не могли понять, о чём идёт речь, но, тем не менее, *общее представление* складывалось: Пушкин в очередной раз бичует крепостников, самовластительных злодеев, царя и самодержавие... Обратимся, однако, к полному собранию сочинений в шестнадцати томах (издававшемуся в 1937–1959 годах): во втором томе означенный стих приводится в куда менее *читабельном* виде:

Заступники кнута и плети,
[О знаменитые<...>?] князь<я>,
[За <всё> <?>] жена [моя] [и] дети
[Вам благодарны] как <и я><?>.
За вас молить [я] бога буду
И никогда не позабуду.
Когда позовут
Меня на полную<?> расправу,
За ваше здравие и славу
Я<?> дам<?> царю<?> мой первый кнут.

Из примечаний мы узнаём: «При жизни Пушкина напечатано не было». По-моему, с самого начала следовало бы использовать не средний род (стихотворение — оно), а мужской — черновик, набросок. Нет, издатели включили черновик в том виде, в каком я его воспроизвёл, в главном разделе тома, в стихотворениях (а не среди отрывков); это пример того, как *факты гнулись* под коммунистическую идеологию: придать отрывкам и обрывкам статус стихотворения, показывающего вольнолюбивые стремления Пушкина, *бичующего* самодержавие. Читателям, тем, кто заглядывает в примечания, сообщалось (в 1947 году, когда напечатали первую книгу второго тома) о наличии *чернового автографа*. Черновик... простите, стихотворение, оно, в среднем роде: «Напечатано в виде сводки некоторых стихов Щёголевым в публикации «Новые стихотворения А. С. Пушкина» — «Русское Слово» 1911, № 181 от 6 августа, стр. 3; факсимиле — «Искры». 1911, № 30, стр. 237. Транскрипция дана Морозовым в акад. изд. собр. соч. Пушкина, т. IV, 1916, прим. стр. 295–296. В. Я. Брюсов предложил конъектуры *на <царскую> расправу* и *Влетит <царю> мой первый кнут* — Пушкин. Стихотворения. Ред. Брюсова, том первый, 1919, стр. 256». Есть ссылка на обстоятельную статью Т. Г. Зенгер «Политическая эпиграмма» в сборнике «Пушкин — родоначальник новой русской литературы» (1941 год)...

Татьяна Григорьевна Зенгер (1897–1978) лучше известна нам как Цявловская. У неё текст слегка отличается от того, что напечатано в академическом полном собрании сочинений, например, в восьмой строке она не смогла разобрать одно слово: «Меня на <нрзб.> расправу». Следовательно, в издательстве редактор или научные сотрудники (тоже филологи из Пушкинского дома), применив *дивинацию*, решили, что на месте чего-то неразборчивого должно быть прилагательное *полную*.

Цявловская сообщает: «Предложенные Брюсовым слова *царскую* и *царю* не были им прочтены в автографе, а внесены исключительно по догадке». Не подлежит сомнению,

что Цявловская держала в руках автограф, тщательно его изучала: «Изучая черновики для нового академического издания, мне удалось прочесть почти полностью текст этой, правильно оценённой Щёголевым, гневной, бичующей, эпиграммы Пушкина».

Казалось бы, всё ясно. Но отрывок не является эпиграммой. Его нельзя, повторяю, считать законченным стихотворением. Поскольку Цявловская называет малопонятные строчки *гневными и бичующими*, мы понимаем, что она, хоть и внимательный исследователь, подделалась или, как сейчас говорит молодёжь, *прогнулась* под идеологию.

Предлагаю заслушать Павла Евсеевича Щёголева (1877–1931), разыскавшего и *правильно оценившего* обсуждаемый текст. Привожу мнение Щёголева по изданию 1931 года «Из жизни и творчества Пушкина». Он нашёл черновые наброски Пушкина к задуманному стихотворению «Андрей Шенье в темнице», на полях обнаружилось записи про заступников кнута и плети: «Восстановить стихи в полном объёме нет возможности: слишком много зачёркнутого и слишком много незачёркнутого, писанного пушкинской скорописью. Вот что можно разобрать:

1. Заступники кнута и плети

... ..

... ..

2. За вас молить я Бога буду

3. И никогда не позабуду,

4. Когда делу позовут.

5. За ваше здравие и славу

6. Влетит мой первый кнут.

В стихе 4-м оставленный в строке пробел заполнен сверху строки словами, неразбираемыми.

Под зачёркнутыми словами разбирается и первоначальная редакция. <...> По поводу этого текста необходимо сказать, что в предпоследнем стихе первоначально было *о вашем*; затем выправлено *за ваше*. Слово *кривлянье* прочитано приблизительно.

Заступники кнута и плети,

О благодетели мои

 жена моя и дети

Вам благодарны

Не позабудем никогда

За ваше светское кривлянье

Удар последнего кнута.

Даже при поверхностном ознакомлении с рукописью (см. факсимиле) ясно, что больше ничего не выжмешь из этого черновика. Самостоятельного стихотворения из него не сделаешь».

Цявловская в 1941 году отозвалась о текстологических усилиях Валерия Брюсова: слова *царскую* и *царю* были внесены им в текст *исключительно по догадке*. То есть Брюсов их вставил *от себя*. Ранее Щёголев *прошёлся* по Брюсову: «Но вот Брюсова тенденциозное стремление революционизировать Пушкина завело очень далеко. Брюсов предлагает следующее чтение:

Заступники кнута и плети,

О благодетели мои!

Все наши женщины и дети

(Семья, жена моя и дети)

Вам благодарны навсегда
Благодарить вас ...
Не позабудем никогда
... ..
За вас молить я бога буду
И никогда не позабуду,
Когда для дела позовут
Меня на царскую расправу.
За ваше здравие и славу
Влетит царю мой первый кнут.

Категорически можно утверждать, что царь тут не причём: ни слова *царскую*, ни слова *царю* в рукописи нет».

Позволю себе дать объяснение, кого, в конце концов, Пушкин назвал *заступниками кнута и плети*, кто они, эти *знаменитые князья*. Щёголев обнаружил черновую заготовку к гневному, но в целом шутливому стихотворению, которым Пушкин собирался дать ответ не каким-то врагам, а своим друзьям, прежде всего, князю П. А. Вяземскому, за их *заботу*. Он, Пушкин, пребывая в Михайловском, обратился к Александру I с просьбой о поездке за границу — вроде как для лечения, но, судя по всему, чтобы бежать из России. Царь разрешения не дал, посоветовав лечиться в Пскове. Жуковский, поверивший, что Пушкин серьёзно болен, нашел для него врача, готового приехать в Михайловское. Вяземский советовал Пушкину «не отвергать из упрямства милости царской и не быть снова на ножах с общим желанием, с общим мнением». Пушкин злился: врач ему не нужен, советы и заботы тоже не нужны! Пребывая в злом настроении, он набросал черновик, в котором окрестил друзей *заступниками кнута и плети*: мол, они поддерживают произвол, которым подвергается он, Пушкин, со стороны властей: приказали ему жить в Михайловском под полицейским присмотром! Обвинение необоснованное, слова оскорбительные... Как мы поняли, стихотворное послание осталось черновым наброском, Пушкин друзьям его не показывал, с названными Вяземским и Жуковским он находился в хороших отношениях до конца жизни.

Литературовед Д. Д. Благой назвал обсуждаемый текст *крайне неразборчивым* (в 1969 году, в примечаниях к собранию сочинений Пушкина в шести томах). Но первое слово принадлежало всё-таки П. Е. Щёголеву: он обнаружил набросок, он его описал, он высказал свои соображения и пришёл к выводу: «Больше ничего не выжмешь из этого черновика. Самостоятельного стихотворения из него не сделаешь».

Получается, что Щёголев ошибся. Конъектуры Валерия Брюсова, сделанные им *по догадке*, действительно придали *крайне неразборчивому* черновику революционный характер. После революции набросок со вставками Брюсова стали включать в собрания сочинений Пушкина — с намёком, что поэт не завершил его, опасаясь цензуры, страшась *истязаний, которым он может подвергнуться со стороны царской политической полиции, во власти которой он, благодаря друзьям, остался* (на эту нелепую интерпретацию я наткнулся в одном из нынешних литературоведческих исследований).

Мы понимаем, что названным и неназванным литературоведам было интересно работать с пушкинским автографом, они с удовольствием предавались критической проверке, установлению и организации текста для дальнейшего исследования, одни текстологи интерпретировали, другие, занимаясь дивинацией, что-то своё дописывали, применяя тонко разработанные критические методы... *Установленный текст* следует считать гипотетическим, но, как я понимаю, та же Цявловская придерживалась иного мнения, уверенно назвав набросок эпиграммой, которую ей *удалось прочесть почти полностью*. Для меня осталось загадкой, как и когда черновой автограф Пушкина стал

стихотворением без скобок и отточий, какой издатель довёл текстологические исследования до публикации, отбросив вопросительные знаки, но могу утверждать, что превращение неразборчивого наброска в законченное (хотя и лишённое смысла) произведение литературы произошло благодаря дивинациям и конъектурам ряда текстологов и литературоведов.

Литература

Библия. — М., 1989.

Пушкин А. С. Собрание сочинений в 16 томах. — М., 1937–1959.

Толстой Л. Н. Война и мир. — М., 1972.

Щёголев П. Е. Из жизни и творчества Пушкина. — Изд. 3. М.-Л., 1931.

References

Bibliya [The Bible]. Moscow: 1989.

Pushkin, Al. Sobranie sochinenii v 16 tomach [Set of Works in 16 Vol.]. Moscow: 1937-1959.

Tolstoi, Lev. Voina i mir [War and Peace]. Moscow: 1972.

Shchegolev, Pavel. Iz zhizni i tvorchestva Pushkina [Pushkin, a Glimpse of His Life and Writings]. Moscow-Leningrad: 1931.

How Will Our Word Resound? (Part 2)

Vasilyev K. B., editor-in-chief, Avalon Publishers, St. Petersburg

Abstract: The author of the essay, a linguist, argues that a certain part of human statements, spoken, written or printed, reaches the listeners and readers in an inaccurate form, sometimes being distorted, changed or edited arbitrarily by publishing editors using abridgements or insertions. The changes include intentional distortions due to various reasons such as political attitudes. Even some proverbs and popular quotations can be queried as to their correct spelling and meaning. Textual changes, errors and misprints are discussed with some explanations provided. The second part of the essay deals mainly with textual criticism. The author refers to the accepted notion that the objective of the textual critic's work is a better understanding of the creation and historical transmission of texts but he doubts that work of this kind can be always regarded as bringing forth good fruit.

Keywords: textual criticism, interpretation of literature, dancing chairs, Pushkin's Ode to Liberty, blasphemy, Deuteronomy, idolatry, divination, conjecture/conjectural emendation, Pavel Shchegolev, Valery Bryusov.